

# ЖАМЧАДАЛАРА.

СОЧИНЕНІЕ

И. Калашникова.

---

ЧАСТЬ III.

*Второе изданіе.*

---

С. ПЕТЕРБУРГЪ.

---

1842.

№ 15955/3-4

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ 2.094.

съ тѣмъ, чтобы по напечатаніи представлено было въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. С. Петербургъ, декабря 11 дня 1841 года.

Ценсоръ П. Корсаковъ.



53293/1

ВЪ ТИПОГРАФИИ А. ЮГАНСОНА.

# I.

## НАЧАЛЬНИЦА.

---

Предсказаніе Антона Григорьевича не сбылось: сколько ни старалась начальница, по приѣздѣ на воды, примирить нашихъ любовниковъ, доброе желаніе ея не имѣло успѣха. Мичманъ показывалъ къ Маріи, по крайней мѣрѣ по наружности, величайшую холодность и даже презрѣніе. Марія чувствовала страданіе, непонятное ни какими словами, рѣдко осушала глаза и между тѣмъ не оправдывалась ни однимъ словомъ. Положеніе ихъ было для начальницы самое таинственное, самое мучительное для ея добраго сердца. Она даже была готова иногда

ЧАСТЬ III. 1

сердиться на нихъ, не подозрѣвая, что только одно искреннее сожалѣніе и глубокое уваженіе къ ней налагало на нихъ молчаніе. Бывали случаи, что Марія, убѣждаемая ею то съ ласкою, то съ гнѣвомъ, рѣшалась-было, наконецъ, раскрыть пагубную тайну; но, потомъ представивъ себѣ, что она своимъ признаніемъ можетъ убить и безъ того слабое здоровье своей благодѣтельницы, вдругъ одумывалась и снова опредѣляла себя на страданіе. Въ такомъ положеніи прошло около двухъ недѣль со времени приѣзда ихъ на воды.

Между тѣмъ, по самой необходимости, мичманъ и Марія были почти безпрестанно вмѣстѣ, сходясь у начальницы. Въ одинъ вечеръ всѣ они трое, сидя подлѣ окна, безмолвно смотрѣли на странную, почти волшебную картину, раскинутую предъ ихъ глазами. На ближнемъ планѣ ландшафта извивалась чудная рѣчка, со своими цвѣтущими берегами; далѣе разстилался безжизненный пологъ снѣга; потомъ возставали дикія скалы, раздѣленные пропастями и, наконецъ, утопая въ безпредѣльности моря, глухо вставали въ отдаленности. И вся эта картина была подернута меланхолическимъ свѣтомъ

сумерокъ, сквозь котораго начинали проглядывать звѣзды.

«Вотъ изображеніе нашей жизни! — сказала наконецъ начальница, тяжело вздохнувши. — Эти цвѣтушіе берега есть малой удѣлъ радости, достигающійся намъ въ жизни, а потомъ пойдутъ препятствія, затрудненія, опасности, бѣдствія, и все оканчивается вѣчностью, въ которой свѣтитъ намъ одна звѣзда вѣры и надежды.»

— Вы прекрасно объяснили — сказалъ Викторъ — аллегорическій смыслъ этого ландшафта; но жизнь не всегда бываетъ ему подобна: бываютъ несчастные, которые не встрѣчаютъ въ жизни и этой краткой дорожки, устланной зеленью.

«Нѣтъ! — возразила начальница — чтобы человѣкъ никогда не встрѣчалъ пути пріятнаго и цвѣтущаго: это почти не возможно, если только самъ онъ не собьется съ него, по слѣдамъ ложнаго опасенія, подозрѣнія и особенно по слѣдамъ страстей и порока.»

— Боже мой! — сказалъ мичманъ, бросивъ мгновенный взглядъ на Марію — какъ страсти рано одолеваетъ сердце, и какъ порокъ искусно прикрывается иногда видомъ невинности.

При сихъ словахъ судорожный трепетъ пробѣжалъ по членамъ Маріи.

«Викторъ Ивановичъ! — произнесла рѣшительнымъ тономъ начальница, примѣтившая безпокойство Маріи — я не знаю, къ чему клонятся ваши слова; но если догадка моя справедлива, то я скажу вамъ рѣшительно: вы заблуждаетесь. Я сама воспитала этого ангела (она взяла руку сидѣвшей подлѣ нея Маріи), и ручаюсь за него моею жизнью!»

Слезы полились ручьями изъ глазъ Маріи. Она бросилась въ объятія начальницы и, рыдая, твердила: «Вы не ошиблись во мнѣ: я точно невпнна!»

Трудно описать, что чувствовалъ въ эту минуту мичманъ. Страшная буря подозрѣній кипѣла въ его душѣ; но она не могла потушить неугасаемаго пламени первой любви, который потухаетъ иногда только съ жизнью. Сей волшебный пламень, притаивающійся до времени, готовъ всегда вспыхнуть съ новою силою при первомъ благопріятномъ вѣтрѣ. Такимъ образомъ, мичманъ, тронутый слезами Маріи, едва не увлекся слѣпымъ движеніемъ своего сердца, и хотѣлъ не бросился въ ея объятія, забывая на мигъ все прошедшее; но прошла минута восторга — и снова суровый разсудокъ обдалъ его своимъ хладомъ. Представьте себѣ вулканъ,

у котораго на поверхности видны льдистыя лавины, а внутри kloкочутъ раскаленные рѣки: вотъ вѣрное изображеніе нашего страдальца въ сію минуту!

— Викторъ Ивановичъ! — повторила начальница, сжимая Марію въ своихъ объятіяхъ, — удивляюсь, что вы еще можете сомнѣваться въ невинности этого чистаго существа!

«Ахъ! сударыня! — воскликнулъ мичманъ, выведенный словами начальницы изъ состоянія забвенія, въ которое, наконецъ, погрузилась его душа, оглушенная бурною толпою разнородныхъ мыслей и чувствованій — я пожертвовалъ бы всею жизнію моею, если бы можно было....»

— Да, если сердце ваше — перебила съ жаромъ начальница — столь же благородно, какъ ваша наружность: то, судя по самому себѣ, вы не можете допускать и въ другомъ, особенно въ этомъ ребенкѣ, столько лицемерія и притворства!

«О! если бы это было въ самомъ дѣлѣ такъ — сказалъ мичманъ, глубоко вздохнувши; — но...»

— Такъ, оправдайся же, другъ мой! — воскликнула начальница, взявъ за руку плачущую Марію. — Оправдайся! Раскрой мнѣ твое сердце: ты знаешь какъ я люблю тебя, и

какъ мнѣ мучительно видѣть твое страданіе. Расскажи мнѣ все, и если кто не повѣритъ словамъ твоимъ, тотъ никогда не былъ достоинъ руки твоей!... Ахъ, для чего ты еще упрямишься? Ты видишь: теперь, или никогда!... Скажи, моя милая! Ты не можешь вообразить, какъ твое молчаніе раздраетъ мнѣ сердце.... Ну, прошу тебя въ послѣдній разъ!... Ты видишь, какъ съ каждою минутою я приближаюсь къ концу; не ужели ты хочешь ускорить его?

«Я? я хочу ускорить вашу смерть?...»

«О Царь Небесный!»

— Ну скажи, моя милая; отъ твоихъ словъ зависить твое собственное счастье!

«Нѣтъ; не могу! — вскричала Марія, ослабѣвъ и упавъ на стулъ. — Не могу! За всѣ блага въ мірѣ не могу сказать ничего въ мое оправданіе, кромѣ того, что я виновна!»

Начальница не сказала ей болѣе ни слова, отошла къ окну, и сѣвъ подлѣ него, устремля взоры на пустынные виды, передъ нею лежавшіе, и погрузилась въ глубокую задумчивость. Долго продолжалось ни чѣмъ не нарушаемое молчаніе; ибо душа каждаго была погружена въ самого себя; наконецъ отворилась дверь, и женщина высокаго роста, дикаго вида, словомъ,



пзвѣстная Караулха, выставясь до половины въ комнату, сказала шопотомъ: «Марья Алексѣевна! не угодно ли вамъ идти приготовить чай?» Марія, казалось, не слыхала сихъ словъ. Цыганка замолчала, окинула внимательными глазами группу, и видя, что никто не примѣчаетъ ея прихода, ужасно посмотрѣла на сидѣвшихъ: этого адскаго взора, въ которомъ изображалась радость тигра, подкрадывающагося къ спящей жертвѣ, ни какая кисть, ни перо представить не можетъ. Оцъ былъ мгновененъ, какъ молнія; и опять пршнявъ на себя смиренно-лукавый видъ, цыганка повторила зовъ. Марія вздрогнула, какъ бы пробужденная отъ сна, вышла вслѣдъ за нею изъ комнаты, и возвратившись съ чашкою въ рукѣ, подошла къ начальницѣ. Сія послѣдняя все еще сидѣла погруженная въ думу.

— Ольга Павловна! — сказала Марія, задыхаясь отъ слезъ — и вы прогнѣвались на меня?

«Нѣтъ, моя милая! — отвѣчала начальница, обратившись къ ней съ видомъ самымъ кроткимъ, но исполненнымъ горести, и взявши изъ рукъ ея чашку. — Я не сержусь, а только жалѣю обоихъ васъ. Счастіе ваше за вами гоняется: такъ вы бѣжите отъ него сами, потому что еще не знаете его цѣны; а если бы вы испытали то,

что испытала я въ моей жизни!.... Боже мой!»

— У всякаго довольно своей горести! — сказалъ мичманъ, глубоко вздохнувши.

«Такъ! Но надобно различать существенную отъ случайной. Что можетъ быть сладостиѣ въ жизни, какъ не исполненіе желаній первой любви? Вы могли бы вполнѣ наслаждаться этимъ благомъ, и не хотите....»

— А вы?... но простите мнѣ этотъ смѣлый вопросъ, который готовъ былъ сорваться съ моего языка.

«Человѣкъ — сказала начальница съ видомъ торжественности — стоя на краю могилы, не долженъ бояться ложнаго стыда!... Дети мои! вы, можетъ быть, одни будете свидѣтелями моего послѣдняго вздоха, и вамъ я должна раскрыть мое сердце. Одинъ грѣхъ, который я понесу съ собою во гробъ есть.... (Пусть называютъ ее люди, какъ хотятъ!)... есть любовь къ тому, кого я любила впервые... Ахъ! много лѣтъ пролетѣло послѣ того, но сердечная рана неизцѣльна!... Я была тогда, Машенька, въ твои лѣта, когда въ первый разъ увидѣла его.... Я не произнесу его имя: для васъ оно одинъ звукъ. Солнце такъ ярко горѣ-

ло тогда на небесахъ, день былъ такъ прекрасенъ: это было въ маѣ мѣсяцѣ, какъ теперь помню, въ праздникъ Троицы. Съ тѣхъ поръ я посвящала ему каждую минуту, каждое мгновение: только объ немъ мечтала, имъ жила и дышала. Прошло три года, но наша любовь возростала съ каждымъ днемъ. Наконецъ, казалось, уже близко было время, когда должны были исполниться наши сладостнѣйшія надежды, и вдругъ въ это - то самое время буря разлучила насъ на-вѣки. Отецъ мой — да проститъ Господь его слабость! — прежде старался оклеветать его въ моихъ глазахъ; но когда не успѣлъ въ хитрости, то употребилъ насиліе: увезъ меня изъ города, и принудилъ обручиться съ другимъ... О Боже мой! какъ теперь помню это страшное мгновение, когда, возвратившись въ Иркутскъ, я пріѣхала съ отцемъ въ домъ губернатора и сѣвъ за ужинъ, должна была снять съ руки обручальное кольцо; которое, переходя изъ рукъ въ руки, дошло наконецъ до него... Я не забуду никогда того взгляда, исполненнаго любви и укоризны, какой онъ бросилъ на меня въ это мгновение, съ трепетомъ оттолкнувъ отъ себя пагубное кольцо, и этотъ взглядъ, какъ молнія, убилъ навсегда счастье

моей жизни! Однако жъ я должна была покориться необходимости, и сказавъ: «видно, такъ угодно Богу!» неслла свой жребій съ терпѣніемъ. Наконецъ у меня родился сынъ: новое чувство пробудилось въ душѣ, и оно, замѣнивъ утраченную любовь, опять наполнило убійственную пустоту моего сердца. Я любила моего сына болѣе, гораздо болѣе, нежели себя: я готова была каждую минуту отдать за него свою жизнь, если бы то нужно было для его спасенія. Самый слабый признакъ болѣзни, малѣйшее стenanіе его,—раздирала мнѣ душу и повергала въ отчаяніе. Словомъ сказать: я жила на свѣтѣ не для себя, а для него. И что же? знать, еще угодно было Творцу испытать мое терпѣніе!»

— Сынъ вашъ умеръ? — прервалъ ее мичманъ.

«Лучше, если бы онъ умеръ! Нѣтъ, онъ пропалъ!»

— Какъ пропалъ? — спросилъ мичманъ съ величайшимъ безпокойствомъ.

«Да, пропалъ!» — отвѣчала начальница, утирая слезы, и поставивъ на окно выпитую чашку.

— Но разскажите, ради Бога! — говорилъ мичманъ, трепеща всѣми членами — какъ это случилось?

«Мы тогда же и въ Петербургѣ . . . Этому исполнилось въ июлѣ прошедшаго года ровно двадцать лѣтъ, и сынъ мой былъ тогда по пятому году. Въ одинъ праздничный день . . . Но что со мною? Боже мой! свѣтъ темнѣеть у меня въ глазахъ!»

Ахъ, говорите, заклинаю васъ Богомъ, говорите! — вскричалъ мичманъ, совершенно въ помѣшательствѣ ума подбѣжавъ къ ней на помощь. — Еще хотя одно слово! . .

«Мнѣ душно! — шептала умирающая едва слышнымъ голосомъ. — Кровь застываетъ въ жилахъ . . . простите!»

Владыко! спаси ее! — воскликнула Марія, упавъ на колѣна передъ образомъ.

«Помогите! помогите! — кричалъ мичманъ, поддерживая умирающую и не зная самъ, что дѣлать. — Помогите! Она умираетъ! Она . . . О! это должно быть мать моя! Помогите!»

— Ядъ! ядъ! — вскричала въ бѣшенствѣ вбѣжавшая въ комнату караулиха. — Вотъ ядъ, который я нашла у ней подъ подушкой (она показала на Марію). Онъ долженъ быть въ чашкѣ. Такъ и есть! Смотрите!

«О Творецъ!» — воскликнула Марія, грянувшись на полъ.

— Червь, недостойный жизни! — возопилъ въ изступленіи мичманъ, бросившись къ Маріи. — Я растопчу тебя!

«Берите его! — вскричалъ вбѣжавшій въ комнату съ толпою казаковъ фельдшеръ, и остановивъ мичмана. — Берите его! Я сейчасъ получилъ предписаніе взять тебя подъ стражу, по дѣлу Тенявы. Тебѣ, видно, мало, что ты еще одного убилъ...»

— Прочь разбойникъ! — вскрикнулъ громовымъ голосомъ мичманъ, отбросивъ отъ себя фельдшера и занеся саблю себѣ на грудь. — Никто не мѣшай умереть мнѣ подлѣ тѣла моей матери!

»Врешь! Она не мать твоя! — вскричала стоявшая подлѣ нея Цыганка, выхвативъ у него съ невѣроятною силою саблю. — Я твоя мать!»

Ты?

«Я!»

— Но кто же ты, несчастная?

«Узнай меня: я Марина!»

— Ты Марина! — вскричалъ мичманъ съ величайшимъ изумленіемъ.

«Да, безумный! я Марина, мать твоя...»

— Злодѣйка! развѣ ты не сама призналась, что я не сынъ твой? Скажи мнѣ, если не хочешь,

чтобы я задушилъ тебя своими руками: не она ли мать моя? — (онъ показавъ на тѣло начальницы).

»Зудуши, если хочешь быть матереубійцею! Знай, неблагодарный, что хотя ты погубилъ меня, но я, для того только, чтобы тебя оставить въ счастіи, пожертвовала самымъ драгоценнымъ именемъ для людей: именемъ матери...»

— Ну да намъ слушать ваши рѣзказни некогда! Послѣ потолкуете о своемъ родствѣ! — вскричалъ съ неудовольствіемъ фельдшеръ. — Ребята, что стоите? Берите его!

Мичманъ стоялъ, какъ пораженный громомъ: ничего не мысля, ничего не понимая, и почти не чувствовалъ, какъ казаки связали ему руки и вывели изъ комнаты.

— Ну-ка ступай и ты, голубушка! — сказалъ фельдшеръ, подошедши къ Маріи, — полно прикидываться-та! Ребята! возьмите ее тоже, да караульте, чтобы не смазала лыжи!

Послѣ сего фельдшеръ, оставшись одинъ съ Цыганкою, сказалъ ей: »Ну заварили мы съ тобой кашу, какъ-то придется расхлебывать! На что тебѣ, старая дура, вздумалось увѣрять его, что онъ твой сынъ?«

— Потому что онъ сынъ мой и есть! — отвѣчала съ злобою Цыганка.

»Полно, вѣдьма! Повѣрю я тебѣ! «

— Ты, повѣришь, мошенникъ, когда я тебя хвачу этимъ ножомъ! — вскричала Цыганка, схвативъ ножъ и кинувшись на фельдшера, который съ ужасомъ выбѣжалъ изъ комнаты.

Цыганка осталась одна. Жертва ея мщенія лежала предъ нею, съ открытыми, неподвижными, какъ бы изъ вѣчности смотрѣвшими глазами, едва освѣщенными мерцающимъ свѣтомъ сѣвернаго сіянія. Цыганка подошла къ трупу, дико посмотрѣла ему въ глаза, закрыла ихъ, и приложивъ лѣвую руку къ сердцу умершей, а правою разводя по воздуху, и уподобляясь въ сію минуту болѣе адскому духу, блуждающему во мракѣ, нежели существу тѣлесному, прошептала ужаснымъ голосомъ:

Чу! . . . . оно уже не бьется!

Кровь хладѣетъ и не льется!

Свѣтъ потухъ въ ея глазахъ! . . . .

О! хвала вамъ, Духи злые!

Въ этихъ огненныхъ столбахъ,

Ваши лики неземные,

Съ дикой радостью въ очахъ!



Вижу я: простерли руки  
Вы кровавыя ко мнѣ . . . .  
Что жѣ? Страшны ль ваши муки?  
Я ль боюсь горѣть въ огнѣ?

Ха, ха, ха! Я въ жизни знала  
Муки адскихъ пострѣшной:  
Я презрѣнье испытала  
Отъ себя и отъ людей!

Но васъ, Духи, заклинаю  
Страшной клятвою геенны:  
Я все въ жизни презираю;  
Только мой обѣтъ священный  
Довершить мнѣ помогите!

Сопрушите, истребите  
Родъ проклятой до конца!  
Жажду мести — утолите  
Кровью сына и отца!

И тогда томить не стану  
Васъ безумною мольбой;  
Но безтрепетно предстану  
Къ вамъ съ завѣтною душой!



## II

### СЛѢДСТВІЕ.



Предписаніе о взятіи подъ стражу мичмана было дано начальникомъ, по случаю окончанія слѣдствія правдолюбивымъ секретаремъ его Погремушкинымъ.

Погремушкинъ началъ свои подвиги въ Кууюхченѣ тѣмъ, что велѣлъ схватить, перевязать и посадить подъ стражу тоіона и все его семейство, а самъ со всею свитою расположился въ его юртѣ. Сей первый подвигъ былъ возложенъ на исправника Сумкина, который, по особенной злости своей на тоіона за извѣстный подзатыльникъ, полученный имъ отъ отца-

начальника, постарался исполнить поручение Погремушкина съ величайшею точностию: стянул Тарею безъ малѣйшей жалости и бросилъ въ холодную юрту. Два дня послѣ сего почтенный секретарь изволилъ провести въ отдыхѣ, послѣ дальней дороги. Наконецъ началось слѣдствіе. Первый допросъ былъ сдѣланъ тоюну. Не смотря на двудневной холодъ и голодъ, Тарей шелъ твердо и отвѣчалъ смѣло, высказавъ подробности смерти Тенявы.

— Правду ли ты говоришь, старикъ? — спросилъ Погремушкинъ голосомъ не столько суровымъ, сколько значительнымъ, съ важностию прибодрившись и протянувъ ноги по нарамъ.

«Правду, бачка! Изволь спросить другихъ.»

— И протопопъ тебя не подучивалъ на бунтъ?

«Нѣтъ, нѣтъ, бачка; не солгу этого.»

— И съ Зудою не сговаривались они дѣйствовать противъ начальства?

«Ничего не слыхалъ, бачка, хоть сейчасъ умереть.»

— А если мы приведемъ тебя къ присягѣ?

«Что хошь, бачка, приказывай: все радъ исполнить. Я говорю правду.»

— Хорошо. Подайте ружье.... Вотъ, клянись надъ нимъ, что ты не лжешь.

«Я сказалъ, что не лгу, бачка!»

— Клянись!

«Изволь, бачка, изволь! — говорилъ Камчадалъ, приставивъ голову къ ружейному дулу. — Если я солгалъ хотя въ единомъ словѣ, то пусть это ружье раздробитъ мнѣ голову въ мелкіе иверешки, пусть не свижусь я болѣе ни съ женою, ни....»

— Довольно, старикъ! — прервалъ съ злобою Погремушкинъ. — Я вижу, что то время прошло, какъ клятва на васъ дѣйствовала; видно, теперь надобно средства другія....

«Съ позволенія вашего, Петръ Федоровичъ! — провозгласилъ съ подъяческими ужимками Сумкинъ. — Если соблаговолите мнѣ поручить окончить допросъ....»

— Кто-жъ вамъ мѣшаетъ? Тутъ вы столько-же обязаны заботиться, сколько и я.

«Такъ по нашему вотъ какъ: плетей!»

— Изволь, бачка, сѣчь, сколько тебѣ угодно — говорилъ Камчадалъ, не показавъ ни малѣйшаго признака смущенія; — но я все-таки сказать пнаго не могу: Камчадалъ, бачка, лгать не любитъ.

«Ладно! Мы посмотрим! Раздѣвайте его!»

Вытерпчивая ужаснѣйшіе удары, отъ которыхъ юрта обагрилась ручьями крови, Камчадалъ, закусивъ губы, не сказалъ ни слова. Наконецъ безуспѣшное пстязаніе было кончено.

— Такъ выбросьте же его, мошенника, изъ юрты! — сказалъ съ досадою Сумкинъ. — Пусть околѣваетъ, когда не хочетъ сказать правды!

«Вы напрасно прибѣгли къ этой мѣрѣ — говорилъ правдолюбивый Погремушкинъ, принимая на себя неодобрительную мпну. — Знаете, гораздо лучше бы обоитись....»

— Помилуйте, Петръ Федоровичъ! Съ этими извергами какъ можно обходиться иначе? Вѣдь вы изволили видѣть: сѣки его, а онъ-все свое пореть! Сущіе разбойники!

«Такъ, это правда; но я не люблю нарушенія законовъ, и скажу вамъ нешутя: я не желалъ-бы, чтобы при моихъ глазахъ...»

— Это все можно сдѣлать! Поручите только мнѣ, такъ, надѣюсь, будете довольны. Я съ ихъ, мерзавцевъ, сдеру не одну шкуру. Вотъ еще жаль, что шельма Зуда долго не ѣдетъ, а то съ него бы начать, съ старшаго бестія...

«Ваша правда! Этого плута всего бы прежде допросить должно. Но мы еще успѣемъ все это

обработать, если вы будете помогать мнѣ съ тѣмъ усердіемъ къ службѣ, какимъ вы всегда отличались. Ваша отличная ревность къ должности была давно извѣстна. Мой долгъ будетъ донести начальству...»

— Сдѣлайте милость, Петръ Ѳедоровичъ: не оставьте вашимъ заступленіемъ. Доброе мнѣніе начальства для меня всего драгоценнѣе; вѣдь, вы изволите знать: только изъ одной чести и блюсь. Жалованье малое...

«Это правда, Антропъ Спирдоновичъ! И все мы изъ чего служимъ, какъ...»

— Ахъ, батюшка Петръ Ѳедоровичъ! извините: совсѣмъ запамятовалъ. По приѣздѣ вашемъ сюда, нарочно я собралъ для вашей милости по собольку съ человѣка, да по чернобуркѣ съ юрты, да....

«Вотъ это напрасно, Антропъ Спирдоновичъ! Вы знаете: я не люблю взятокъ.»

— Да помилуйте: что же это за взятки? Я единственно изъ моего усердія къ вамъ, а *доброхотнаго дателя*, вамъ извѣстно...

«Ну, такъ и быть! Я оставляю все это покаместъ у себя, а потомъ постараюсь вамъ заплатить.»

— Очень хорошо, Петръ Ѳеодоровичъ! Пусть хоть и такъ останется; еще успѣемъ разсчитаться, если Господь продлитъ вѣку; время не уйдетъ!

Между тѣмъ, какъ бесѣдовали такимъ образомъ сіи честные чиновники, изъ коихъ одинъ, хитрый мошенникъ, хотѣлъ, какъ говорится, загребать жаръ чужими руками, а другой, наглый подлець, готовъ былъ рѣшительно на всѣ беззаконія, лишь бы угодить начальству, — въ сіе время вокругъ несчастнаго тоіона, окровавленнаго и брошеннаго близъ юрты, собралась большая толпа жителей острожка. Камчадалы, какъ и всѣ почти дикіе, предпочитая смерть истязаніямъ тѣлеснымъ, смотрѣли на своего начальника не столько съ горестію, какъ съ негодованіемъ, качали головами и перешептывались.

— Чего вы ждете?—вскричалъ внезапно появившійся между ними молодой Камчадалъ, высокаго роста, плечистый и по самому виду общавшій необыкновенную силу и проворство. — Чего вы ждете? И всѣмъ вамъ тоже будетъ! Коли тоіона избилъ : то чего ждать другимъ?

«А что, ребята?—говорили Камчадалы другъ другу. — Вѣдь Гатальча-то говоритъ правду!»

— Эта правда, подхватилъ Гатальча съ яростію — лежатъ у васъ предъ глазами. Если не

хотите, чтобы и всѣхъ васъ такъ же измучили, то всѣ за мной! Смерть разбойникамъ!

«Въ самомъ дѣлѣ, ребята — вскричалъ кто-то изъ толпы — пойдѣмъ перерѣжемъ ихъ, да шабашь!»

— Пойдемъ, пойдѣмъ, ребята! — закричали всѣ въ голосъ. — Принимайтесь за чекуши!

«Гг. слѣдователи! — вскричалъ проворно спустившійся къ нимъ въ юрту Зуда, бывшій до сего времени въ отлучкѣ изъ Кууюхчена — спасайтесь: васъ хотятъ всѣхъ перерѣзать!»

. — Какъ, кто? — воскликнулъ Погремушкинъ, поблѣднѣвшій какъ полотно, но старавшійся сохранить неустрашимость духа, которою онъ любилъ хвастаться. — Кто это и какъ?

«Народъ взбунтовался.»

— Народъ взбунтовался! — повторилъ съ величайшею, самою презрѣнною робостію Сумкинъ, у котораго зубы громко застучали другъ о друга. — Народъ взбунтовался, говоришь ты?

«Да, да, народъ! Спасайтесь, покуда есть время, а то.... Но теперь все кончено! Всѣ мы погибли!»

Въ это время шумная, свирѣпая толпа Камчадаловъ, подъ предводительствомъ Гатальчи, прибѣжала къ юртѣ слѣдователей, съ которыми



вмѣстѣ находились и прїѣхавшіе съ ними пять  
человѣкъ казаковъ.

Покрывъ отверзтіе юрты досками, Камчадалы  
кричали съ остервенѣніемъ: «Попробуйте теперь  
выйти оттуда, дьяволы, вы узнаете, каково об-  
жать Камчадала!»

— Что намъ дѣлать теперь, Абрамъ Василье-  
вичъ? — говорилъ Сумкинъ, едва выговаривая  
отъ страха слова. — Будьте отецъ родной: на-  
учите!

«Знаете ли что я совѣтывалъ бы вамъ?» —  
отвѣчалъ Зуда, смотря съ чувствомъ величай-  
шаго презрѣнія на сего робкаго подлеца и не-  
могши удержаться отъ насмѣшки.

— А что такое? Научите, ради Бога!

«Хорошо бы вы сдѣлали, Антропъ Спиридо-  
новичъ, если бы приказали такъ же отодрать се-  
бя, какъ вы изсѣкли бѣднаго Тарею; и потомъ  
велѣли бы вынести себя на показъ: я увѣренъ,  
что это средство....»

— Боже мой! вы смѣтаетесь надъ нами, Абрамъ  
Васильевичъ, — говорилъ Погремушкинъ самымъ  
дружественнымъ голосомъ, между тѣмъ, какъ во  
всякое другое время онъ былъ бы готовъ отвѣ-  
чать на подобную обиду со всею дерзостію про-  
винціальнаго временщика. — Можно ли такъ по-

ступать Христианину, когда бы вы, можетъ быть, могли бы однимъ словомъ утишить мятежь?

«Помилуйте! — отвѣчалъ Зуда, продолжая тонъ насмѣшки.—Вы, будучи столько лѣтъ при начальникѣ, несравненно болѣе моего имѣли случай приобрѣсть уваженіе Камчадаловъ вашими добрыми дѣлами; одно ваше имя, кажется, должно бы быть достаточно къ тому, чтобы заставить молчать?»

— Это такъ; но, признаюсь, я не столько счастливъ....

«Да тутъ не нужно счастье. Государыня поручила участь Камчадаловъ вашему начальнику, а вы его правая рука: такъ вы, конечно, старались вмѣстѣ съ нимъ исполнить волю Монархини: защищать невинныхъ, наказывать виновныхъ, творить судъ по правдѣ; охранять вашу страну отъ грабительства взяточниковъ, мошенниковъ, кровопійць....»

По мѣрѣ того, какъ Зуда, начинавшій говорить съ жаромъ, разгорячался, Погремушкинъ приходилъ въ трепеть. Глаза его, устремленные на Зуду, остановились. Блѣдное, посинѣлое лице изображало болѣе образъ мертвеца, возставшаго изъ гроба на гласъ страшнаго суда, нежели живаго человѣка. И въ самомъ дѣлѣ въ словахъ

Зуды, произносимыхъ въ то время, когда неизбежная смерть висѣла у него надъ головою, въ точномъ значеніи сего слова, онъ слышалъ, казалось ему, начавшійся надъ нимъ грозный и неотвратимый судъ за гробомъ. Но слова Зуды были прерваны дикимъ крикомъ Гатальчи, который, не имѣя терпѣнія ждать выхода своихъ жертвъ, сбросилъ доски, и закричалъ свирѣпымъ голосомъ: «Ну-ка выльзайте, проклятые! Намъ долго ждать, пока вы тамъ сами переколѣете! Выльзайте, говорю вамъ, а не то мы и тутъ васъ всѣхъ перестрѣляемъ, какъ утокъ!»

— Погибли! — вскричалъ Погремушкинъ, упавъ на полъ, между тѣмъ какъ товарищъ его давно уже сидѣлъ, забившись подъ нары, полумертвый отъ страха.

«Таковы-то всегда подлые люди! — говорилъ Зуда, глядя съ презрѣніемъ и жалостію на обоихъ трусовъ. — Въ счастиі они готовы на все, а при малѣйшей опасности они совершенно теряютъ рассудокъ... А вы что, ребята! — продолжалъ онъ, обратившись къ казакамъ — уже ли и вы сробѣли?»

— Сробѣть не сробѣли, Абрамъ Васильевичъ — отвѣчали казаки въ одинъ голосъ: — двухъ смертей не будетъ, а одной не миновать;

да, вѣдь, дѣлать тутъ нечего. И радъ бы въ рай, да грѣхи не пускаютъ!

«Нѣтъ, ребята: для Русскаго ни гдѣ ворота не заперты. Смѣлость города беретъ. Не драть-ся умереть, и драться умереть: такъ лучше по-пробуемъ счастья: авось!»

— Ты дѣло вздумалъ, Абрамъ Васильевичъ!— сказалъ одинъ изъ казаковъ. — И точно! Ударимъ-ка на басурмановъ: авось!

— Ну благослови Господи!— сказали казаки въ одинъ голосъ. — Чѣму быть, тому не миновать. Ура!

Казаки, схвативъ ружья, бросились къ от-верстію, но первый изъ нихъ, храбрый, отважившійся показаться изъ юрты, полетѣлъ внизъ съ разрубленною головою, сопровождаемый ужаснымъ хохотомъ Камчадаловъ, отдавшомся въ сердца осажденныхъ, и вслѣдъ за нимъ влетѣло въ юрту нѣсколько стрѣлъ, отравленныхъ ядомъ. Всѣ онѣ просвистали попусту, кромѣ одной; но эта одна похитила жертву, стоявшую многихъ: она ранила Зуду. Старецъ, не смотря на вѣрную смерть, сохранилъ однако жъ всю твердость духа, никогда его не оставлявшую, и, опустившись на нары, еще ободрялъ казаковъ: «Друзья! не упывайте! Ваше спасеніе заклю-

чается въ одной вашей храбрости.» Но поощреніе егo было тщетно; страшный, зловѣщій голосъ Гатальчи опять раздался надъ юртою:

«Ребята! тащите-ка болѣе хвоста: зажжемъ его, да набросаемъ въ юрту, а потомъ закроемъ ее; пусть они издохнутъ въ ней, какъ черви!»

— Въ самомъ дѣлѣ, ребята—повторило множество голосовъ—притащимъ хвоста, да смо-римъ всѣхъ ихъ тамъ чертей: что съ ними долго-то биться!

Скоро цѣлыя груды горящаго хлама посыпались въ юрту. Ужасный удушающій дымъ быстро распространился по пей, похищая изъ виду осажденныхъ не только всѣ предметы, но и самихъ ихъ, другъ у друга. Наконецъ начало захватывать у нихъ дыханіе, и жизнь, такъ сказать, собралась въ груди, чтобы вылетѣть оттуда съ послѣднимъ вздохомъ. Начался страшный споръ между бытіемъ и смертію, рѣшеніе котораго уже, можетъ быть, зависло отъ одной минуты. «Ну, товарищи! прощайте! — сказали казаки другъ другу. — Теперь конецъ нашъ насталь!»

Но въ сіе роковое мгновеніе вдругъ раздалась выстрѣлы: разъ, два, три. Камчадалы схлынули съ юрты, и проворная рука разбро-

сала лежавшіе на ней доски. Дымъ повалилъ изъ нее стодбомъ.

— Живы ли тамъ?—раздался сверху голосъ.

«Ни живы, ни мертвы» — отвѣчалъ одинъ изъ казаковъ, пробираясь ощупью къ отверзтію.

— Выходите проворнѣе: Камчадаловъ мы всѣхъ прогнали.

«Ба, это ты, Паршинъ! Да какими, братъ, судьбами ты подоспѣлъ къ намъ на выручку? Вѣдь насъ, окаянныя, совсѣмъ было прокоптили, словно юколу.»

— Да, братъ, кабы не прилетѣлъ къ намъ на верховой посланный отъ Зуды: то, вѣрно, попали бы вы на закуску къ курносой.

«А вы развѣ недалеко гдѣ были?»

— Да я вотъ съ командою посланъ изъ Большерѣцка на Лопатку, да остановился было на дневку на рѣчкѣ *Кылхту*, отсюда верстахъ въ пятнадцать...

Въ продолженіе сего разговора вышли и прочіе четыре казака, протирая глаза и едва переводя духъ.

— Да гдѣ же ваши начальники? — спросилъ Паршинъ.

«Кто ихъ знаетъ: живы ли они? Вотъ дай перевести духъ, такъ пойдемъ и ихъ отыскивать.»

Первый изъ отысканныхъ былъ Погременкинъ. Не вставая съ пола, онъ сѣлъ, и посмотрѣвъ мутными, мрачными глазами вокругъ себя, прошепталъ: «еще ли я живъ?» Между тѣмъ казаки отыскали и Сумкина.

— Ваше благородіе! — сказалъ одинъ изъ нихъ.—Извольте встать: опасность прошла.

«Рѣжь меня, коли хочешь: не встану!» — прошепталъ Сумкинъ, дрожа отъ страху.

— Извольте встать, ваше благородіе! Вѣдь мы казаки, а не камчадалы: они всѣ ужъ разбѣжались.

«Разбѣжались? — вскричалъ Сумкинъ, вскочивъ на ноги. — Разбѣжались? а Зуда?»

— А онъ вотъ здѣсь.

«Такъ ты здѣсь еще, мошенникъ! Возьмите его, свяжите! Разбойникъ! онъ вздумалъ смѣяться надъ чиновниками!»

— А я долженъ доложить вашему благородію—сказалъ Паршинъ—что если бы не Абрамъ Васильевичъ: то вамъ бы смерть неминуемая...

«Это почему?»

Паршинъ повторилъ сказанное казаку.

«Пустьки! это только одинъ отводъ! Исполняйте, что приказываютъ. Возьмите его, свяжите крѣпче, да приготовьте...»

«Помилуйте ваше благородіе! — сказалъ Паршинъ съ твердостію—что его вязать? Онъ уже умираетъ...»

— Все равно! — кричалъ Сумкинъ. — Все равно! Вяжите его!

«Нѣтъ, воля ваша : не можемъ!»

Такимъ образомъ, не слушая безумныхъ и злостныхъ приказаній, казаки стояли вокругъ умирающаго Зуды безъ всякаго дѣйствія, смотря на него съ видомъ величайшаго участія.

«Друзья мои! — сказалъ Зуда, какъ бы проснувшись отъ глубокаго сна, и почувствовавъ какую-то необыкновенную легкость, которая бываетъ всегда вѣрнымъ предвѣстникомъ исхода жизни, такъ же блещущей на мгновение предъ своимъ концемъ, какъ блещетъ иногда потухающій свѣтильникъ. — Друзья мои! не откажитесь исполнить просьбу человѣка умирающаго: вынесите меня отсюда.»

— Извольте, батюшка Абрамъ Васильевичъ, — говорилъ Паршинъ! какъ старшій изъ казаковъ.—Съ охотою исполнимъ ваше желаніе: вѣдь мы не бусурмане какіе, чтобы видѣли васъ въ такомъ положеніи, да еще бы не пожалѣли и не послушались.



Казакн вынесли его изъ юрты и положили близъ оной на разостланныя оленья кожи. Погренушкинъ и Сумкинъ также вышли изъ юрты, и на лицѣ перваго была написана самая черная дума. Они стали поодаль. Зуда лежалъ на холмѣ, съ котораго было видно вдаль море, съ закатывавшимся въ бездны его дневнымъ свѣтломъ. Умирающій сдѣлалъ послѣднее усиліе, приподнялъ нѣсколько голову и уныло, подобно отходящему съ родины путешественнику, посмотрѣвъ на море и на солнце, произнесъ тихимъ прощальнымъ голосомъ: «О ты, неугасающее, вѣчно-юное свѣтло! погрузясь въ эти снѣга бездны, ты опять взойдешь завтра съ прежнею красотою и величіемъ, но я уже не увижу болѣе твоего восхода!... И погрузившись навсегда въ бездну вѣчности, сохраню ли мое эфемерное бытіе?... О сколько разъ ты заставляло меня посреди этихъ печальныхъ пустынь въ слезахъ и горести!... И для чего суждено было мнѣ видѣть, какъ, оживляемое твоими лучами, все твореніе дышало радостію, величіемъ, между тѣмъ, какъ я одинъ скорбѣлъ безъ утѣшенія и безъ надежды? Для того ли, чтобы, означивъ бытіе свое на земли однимъ страданіемъ, я потомъ исчезъ навсегда?...» Сильное волненіе души изо-

бразилось на лицѣ страдальца. Проведя жизнь въ тщетныхъ изысканіяхъ разума, онъ напрасно искалъ въ немъ утѣшенія при дверяхъ гроба: ибо тутъ нѣмѣетъ всякая человѣческая мудрость, и вѣщаетъ одна Вѣра. Примѣтно утомленный мучительными сомнѣніями, несчастный опять склонилъ голову на постель и закрылъ глаза.

— Тихе, тихе! — говорили тихомолкомъ казаки другъ другу, снявъ шапки и набожно крестясь. — Не помѣшайте : онъ отходить!

Но умирающій еще взглянулъ, и сдѣлавъ едва примѣтный жестъ рукою, сказалъ казакамъ, чуть-чуть слышнымъ голосомъ : «Друзья мои!... если будете въ Петропавловскѣ... скажите Ивашкину, что объ немъ одномъ я пожалѣлъ при концѣ моей жизни.... ибо свѣтъ сей для меня давно былъ чуждъ!... Прощайте!»

Онъ опять закрылъ глаза, и уже не открывалъ болѣе.

— Ну, слава Богу, кажется, комедія кончилась! — сказалъ глупый и безчувственный Сумкинъ, обращаясь съ подлою улыбкою къ Погремушкину.

«Да, кончилась! — отвѣчалъ холодно сей поелѣдній, мрачно нахмуривъ брови. — Но какъ-


то приведется намъ самимъ ее разыгрывать!»

Между тѣмъ казаки начали уже рыть могилу. Опустивъ въ нее умершаго, они прочтали надъ нимъ короткую молитву, и общая всѣмъ мать тихо приняла странника на свое лоно. Скудный деревянный крестикъ, на-скоро связанный ремнемъ, нѣсколько времени стоялъ надъ сею уединенною могилою, а потомъ вѣтеръ уронилъ его, холмикъ могильный изгладился, и не осталось ни малѣйшаго слѣда, что былъ человекъ, кромѣ однихъ пустыхъ звуковъ преданія.



## XVIII.

### ПРЕСЛѢДОВАНІЕ.



Камчадалы, испуганные прибытіемъ казацкой команды, забравъ женъ и дѣтей своихъ, убѣжали въ горы.

Сотникъ Паршинъ, получивъ отъ Погребушкина приказаніе идти за ними въ погоню, произвелъ прежде самый тщательный обыскъ во всѣхъ юртахъ, въ надеждѣ: не отыщеть ли кого, кто могъ бы дать ему свѣдѣніе, въ какихъ мѣстахъ надлежало искать бѣглецовъ. Обыскъ былъ удаченъ: найдена въ одной юртѣ, спрятавшаяся за *чирелы* больная и дряхлая старуха. Вытащивъ ее оттуда, казаки, не столько съ дѣйстви-

ными, сколько съ притворными угрозами, начал ее разспрашивать; но Камчадалка, прикинувшись пѣмою, не говорила ни слова.

«Ну, видно, ничего дѣлать съ тобою, старая корга! — сказалъ притворно разсердившійся Паршинъ—какъ раскласть побольше огня, да... Говори же! Что въ самомъ дѣлѣ? Долго ли будемъ съ тобою биться? Ну-ка, ребята, пррпи-майтесь: взвалте ее на очагъ! Видно, у ней языкъ-то примерзъ, такъ отогрѣть надобно!»

— Скажу, скажу бачка! — завопила старуха, повидному струсившая, когда казаки схватили ее, дѣлая видъ, что хотятъ тащить на огонь.

«Давно бы такъ! Ну, сказывай же проворнѣе! Не говорили ли иногда ваши старпки, что грезятся имъ во снѣ мертвые, и не пѣдили ли въ гости въ дальніе острожки (\*)?»

—Нѣтъ, бачка, этого не слыхала, хоть сейчасъ вздохнуть?

«А вѣрно, знаешь, въ которую сторону сговорились бѣжать бунтовщики?»

— Про это мелькомъ слышала.

«Куда же они побѣжали?»

---

(\*) Въ старину оба сія случая были вѣрными предвѣстниками бунта.

— А вотъ, бачка: подите вы все вверхъ по *Нингучу*, и дойдете вы до двухъ горъ, одна изъ нихъ называется *Омгазинъ*, по вашему, бачка, это значить: *лѣсъ валить*, потому что, какъ говорятъ старики, на этомъ демѣстѣ...

«Ну, да полно околесницу-то молотъ: что намъ за нужда до вашихъ побасенокъ? Сказывай дѣлю!»

— Хорошо, бачка, хорошо! — отвѣчала Камчадалка, вытаскивая непримѣтнымъ образомъ съ пояса у себя ножъ. — Такъ вотъ и подите вы къ этимъ горамъ. Одна изъ нихъ, я сказывала ужъ вамъ, *Омгазинъ*, а другая *Саану*, по вашему: *кормовая*, потому-что-де говорятъ старики, на этой горѣ...

«Опять за тоже! — вскричалъ Паршпъ. — Да что, въ самомъ дѣлѣ? Знать, ты морочишь насъ хочешь? Ребята! тащите ее на огонь?»

— Врете! Камчадалка умѣетъ умереть отъ своей руки! — вскричала старуха, и въ то же мгновеніе черкнула себя ножемъ по горлу, и упала безъ дыханія.

Экое чортово племя! — сказалъ Паршпъ, качая головою. — Имъ зарѣзать себя, словно выпить рюмку вина. Нечего дѣлать, ребята: пойдемте на авось. Можетъ быть, и сами оты-

шемъ слѣдъ! Да гдѣ у насъ Пронька Труниловъ, безшабашная голова?»

И то, гдѣ-то не видно его! — говорили казаки. — Смотри, что, ребята, онъ пошелъ слѣдить за Камчадалами!

«Да и вѣдомо, что такъ!» — подхватилъ спустившійся въ юрту молодой и бравый казакъ.

— Гдѣ ты это слонялся? — спросилъ его Паршинъ.

«Да гдѣ слоняться-то? Слѣдилъ за этими чертями...»

— Ну такъ и есть! — перебили казаки. — Мы угадали... Ай-да, безшабашная голова! Одинъ за сотнею погнался!

«Такъ мнѣ какая надобность, что ихъ сотня! хоть бы ихъ двѣ было: смѣлымъ Богъ владѣеть! Я то думалъ, что-де перавно вздумаетъ начальникъ посылать за ними погоню, такъ было бы вѣдомо куда идти...»

— Да, спасибо, братъ Пронча — говорилъ Паршинъ. — Ты это хорошо вздумалъ... А что, они не примѣтили тебя?

«Нѣтъ; не могъ скрыться; увидѣли, которъжые, да и погнались было; однако я не сбѣлъ: одного изъ нихъ срѣзалъ изъ винтовки, а прочіе спрятались.»

— Жаль, что они увидѣли тебя: теперь они скроются въ такія трущобы, что ихъ и самъ чортъ не найдетъ!... А въ которую же сторону они пошли ?

«Да сперва они шли вверхъ по *Нынгу*, а потомъ, не доходя до перваго поворота, свернули налѣво въ гору, а тутъ ужъ я и бросилъ ихъ.

— Такъ, видно старуха — сказала Паршинъ — говорила правду. Ну съ Богомъ! — Терять время нечего : пойдете къ *Омгазину*. Я догадываюсь, гдѣ теперь должны быть бунтовщики.

Казакъ отправился въ погоню въ числѣ пятнадцати человекъ, между тѣмъ, какъ бѣглыхъ, однихъ мужчинъ, было около пятидесяти; но такъ завоевана вся Сибирь: вездѣ горсть Русскихъ сражалась съ тысячами, и побѣждала. Сверхъ сего и самый путь, по которому бадлежало проходить нашимъ храбрецамъ, былъ чрезвычайно трудный и опасный. Быстрая рѣчка, во многихъ мѣстахъ, отъ пробивавшихся по берегамъ ея ключей, не была покрыта льдомъ, и потому, проходя между утесамъ, должно было кое-какъ лѣзться съ величайшею опасностію, на скользкихъ и узкихъ закраинахъ.

«Ну, чортово же только это мѣстечко! — сказалъ Паршинъ. — Смотри Ванюха, не обор-



вись : что ротъ-то разинулъ на утесы ? Обрушишься, такъ утащить какъ разъ подъ ледъ, и молитвы сотворить не успѣешь ! Впшь, рѣчка, словно котель кипитъ.»

— Небось, Лука Фаддеичъ, не обрушусь ! — отвѣчалъ казакъ.

«Только сколько же, парень, пробираться! — замѣтилъ другой. — Того и смотри, что сотворишь *кувыръ-коллегию*.»

— Да ! — говорилъ третій — за утесъ зубами не ухватиться : не рѣпа !

«Экая, Господи, махина выросла ! — продолжалъ третій. — Такъ въ небо и упирается!»

— Да и на той-то вонъ сторонѣ, братъ, не поддается этому ! — замѣтилъ четвертый.

«Словно въ какой въ трубѣ идемъ ! — присовокупилъ пятый. — Ужъ подлинно небо съ овчинку кажется ! И звѣздъ-то почти не видать : первой, другой обчелся!»

— Да нечего сказать, братъ ! — говорилъ шестой. — Не для людей эта дорога построена ; только чертямъ по ней и ходить !

«Ну, теперь недалеко, ребята ! — сказалъ Паршинъ. — Вонъ ужъ и конецъ, а тамъ и поворотъ налѣво.»

— Слава-те, Христе! выбрались! — провозгласили все казаки въ одинъ голосъ.

Въ семь мѣстѣ утесы разошлись въ разныя стороны, превратившись въ обыкновенныя горы, и соединившись съ другими хребтами. Казаки, прѣйдя около двухъ верстъ равниною, поросшею кустарникомъ, едва, впрочемъ, выставлявшимся изъ-подъ снѣга, наконецъ достигли до хребта, черезъ который надлежало имъ перебраться. Предъ ними лежала высокая и крутая гора, обнаженная отъ лѣса и покрытая скользкимъ настомъ, блиставшимъ, какъ хрусталь, при лучахъ мѣсяца.

— Ну, ребята, какъ-то мы взмогнемся на эту лежанку! — сказалъ Паршинъ, по обычаю Русскихъ, сохраняя веселость духа и шутливость въ величайшихъ трудностяхъ и опасностяхъ. — И не топлена, да жжется!

« А вотъ какъ, Лука Фадденчъ!» — подхватилъ безшабашная голова, проворно бросившись къ горѣ, и начавъ подниматься на нее.

— Проворенъ больно! — говорили старослуживые. — Не взойди внизъ головой!

Въ самомъ дѣлѣ, удалый казакъ сколько ни упстрелялъ усилій, но взойдя не болѣе трехъ

сажень, оборвался и скатился съ горы. Общій смѣхъ казаковъ раздался съ его паденіемъ.

— Что, братъ — говорили казаки — знать, удалъ да безталаненъ?

«Погодите еще, не смѣйтесь! Дайте только подвязать щипы подъ лапки (\*), такъ взойду и не на такую гору.»

— Молоденекъ, братъ ты, Пронча! — сказалъ одинъ изъ опытныхъ казаковъ. — Если бы слушалъ, кто тебя побольше служивалъ и бывалъ, какъ говорится, и подъ конемъ и на конѣ: такъ не леталъ бы, братъ, по тюленьи, внизъ головой!

«Вотъ еще! учить вздумалъ!»

— Учить не учу, а дѣло всегда скажу. Видишь ли, вонъ на горѣ: какъ будто поднимается вихоръ и заметаетъ снѣгъ?

«Вижу. Такъ что за бѣда?»

— Вотъ видишь, ты еще и не знаешь этого. Попробуй-ка взойти теперь на гору: такъ тебя и унесетъ съ нее въ тарь-тарары, такъ что и костей не соберешь!

«Отъ чего такъ?»

— Да отъ того, что хоть теперь здѣсь и

---

(\* ) Лапки — родъ лыжъ.

тихо, а тамъ, поди-ка, такой хусъ, что и на ногахъ не устоишь.

«Э, чѣмъ пугать вздумалъ! Снесетъ, такъ туда и дорога: была не была! Два вѣка не проживешь! А коли далъ Царю присягу служить вѣрой и правдой, не жалѣя крови, такъ ужъ тутъ думать нечего! Благослови-ка, Лука Оаддепчъ!»

— Съ Богомъ, съ Богомъ, братъ Прокопій! — провозгласилъ Паршинъ, смотрѣвшій съ восторгомъ на удалство Трунилова, и выжидавшій только времени, чтобы поджечь соревнованіе и въ прочихъ своихъ подчиненныхъ.

«Экая озорь! — говорили казаки, смотря съ удивленіемъ на поднимавшагося быстро Безшабашнаго. — Смотри, какъ чешетъ!»

— Да, чешетъ! — подхватилъ одинъ изъ нихъ. — вонъ поѣхалъ назадъ... ну, не бываетъ живому!

«Ну, совсѣмъ обрушился! — вскрикнули казаки съ чувствомъ жалости. — За камень-то ухватись!... Ахъ ты, Господи!... За кустарникъ-то, за кустарникъ-то!... Лови! Вотъ такъ! Ай-да, молодецъ!»

— Смотри-ка, какъ пошелъ опять отваливать! — сказалъ Паршинъ.

«Вотъ ужъ не далеко и до вершины!» — подхватилъ одинъ изъ казаковъ, по нѣкоторомъ молчаніи.

— Смотри, что доберется! — прибавилъ другой. — Теперь ужъ много, что саженъ съ десятокъ осталось.

«Ну, взошелъ! — провозгласили казаки въ одинъ голосъ. — Ай-да, отчаянный!»

— Ребята! — воскликнулъ Паршинъ — стыдно же намъ, старымъ служивымъ, оставаться здѣсь, чтобъ этотъ молокососъ послѣ надъ нами смѣялся. Ну, ребята, подвязывай щипы, да всѣ за мной!

Казаки начали подниматься на гору, и по мѣрѣ того, какъ они всходили выше и выше, вѣтръ, почти нечувствительный въ долинѣ, становился постепенно сильнѣе, и на вершинѣ горы превратился почти въ бурю, которой стремительные порывы могли сбить съ ногъ и утащить оплошного въ страшную падь, отдѣлявшую сію гору отъ противоположнаго утеса, еще и надъ нею возвышавшагося.

— Я сказалъ — говорилъ казакъ, дававшій совѣтъ Трунцлову — что на вершинѣ буря: теперь видите, что моя правда!

«Ребята! — возгласилъ Паршинъ — ползкомъ, если не хотите прогуляться въ падъ: вѣтеръ какъ разъ съ ногъ срѣжетъ, а гора, смотрите, словно *коча* (\*), опрокинутая вверхъ *днищемъ*: притултятся не куда!»

— Тыше! — прошепталъ лежавшій на горѣ Трунцловъ.

«Что такое?» — спросилъ поднявшійся на гору Паршинъ.

— А вонъ смотри-ка, на утесъ... Видишь, вонъ въ этомъ уступѣ, какъ-будто огонекъ просвѣчиваетъ между камней?... Вѣдь, знать, тутъ кто-нибудь есть?

«Да кому быть, кромѣ этихъ чертей Камчадаловъ? Слышишь: собаки завылл?»

— Да, это точно гои не вѣтра! А смотрите-ка, кажись человекъ показался на уступѣ?

«Человѣкъ, точно человекъ! — сказали въ одинъ голосъ нѣсколько казаковъ. — Ахъ, онъ дьяволъ! Смотри, что онъ насъ увидѣлъ: вѣдь у нихъ глаза-то нечеловѣчьи; къ тому же солнышко-то наше не въ добрый часъ вздумало на насъ свѣтитъ: такъ насъ имъ, какъ на зеркалѣ видно!»

---

(\*) *Коча* — судно.

— Увидѣлъ и есть! — подхватили другіе. — Кажись, машетъ рукой?... Экъ ихъ высыпало изъ норы!.... Что это? Смотри: что принимаются за стрѣлы!

«Пусть ихъ потѣшатся! — сказалъ хладнокрово Паршинъ. Я увѣренъ, что ни одна стрѣла не попадетъ въ насъ.»

Множество стрѣлъ взвилось въ воздухѣ, по всѣмъ онѣ, отнесенныя вѣтромъ, дѣйствительно упали далеко въ сторону отъ своей цѣли, а многія и вовсе не долетѣли до горы.

— Теперь, ребята! — провозгласилъ Паршинъ — наша очередь! Ну-ка посмотримъ, что вѣрнѣе: пуля или стрѣла?

Грохотъ ружей раздался по горамъ. По смятенію, оказавшемуся въ толпѣ Камчадаловъ, можно было примѣтить, что выстрѣлы не были совершенно потеряны. Казалось, они что-то схватили и скрылись, нные въ пещеру, нные за огромные кекуры (\*), чернѣвшіеся на утесѣ.

— Теперь ихъ оттуда не выживешь! — сказалъ Паршинъ. — Дѣлать другаго нечего, какъ вотъ что: я возьму съ собой тебя, Пронча, да еще васъ, ребята! (онъ указалъ на самыхъ удалыхъ осьмерыхъ казаковъ.) Спустимся въ

(\*) Кекуръ — каменный столбъ.

падъ, обойдемъ по ней утесъ и поднимемъ на него съ другой стороны. Тамъ, знать, отложистѣе, что Камчадалы могли взобраться. Поднявшись же на вершину, намъ ужъ не трудно будетъ спуститься къ нимъ на уступъ. Спадемъ на нихъ, какъ свѣгъ на голову! Поняли вы меня, ребята?

— Какъ не понять? Ты, Лука Фаддеичъ, худо не выдумаешь! — говорили казаки въ одинъ голосъ съ примѣтнымъ удовольствіемъ, особенно Безшабашный.

«А вы — продолжалъ Паршинъ, обращаясь къ остальнымъ казакамъ — оставайтесь здѣсь, и если кто выглянетъ изъ нихъ, такъ того и бацъ изъ ружья.

Сдѣлавъ сіе распоряженіе, Паршинъ, съ отобранными удалцами, началъ спускаться ползкомъ на другую сторону горы, по которой, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ вершины показывался мелкой топольникъ, мало по малу увеличивавшійся и превратившійся, во глубину пади, въ густой лѣсъ (\*). Но добраться до спуска, покрытаго лѣсомъ, по скользкому и крутому

---

(\*) Топольникъ и листвякъ есть единственный лѣсъ, изъ котораго строятъ въ Камчаткѣ дома и суда; но послѣдній растетъ только во



скату, нельзя было иначе, особенно по причине бури, как ползкомъ, почти внизъ головой. Само собою разумѣется, что такое путешествіе требовало величайшихъ усилій и чрезвычайной осторожности. Нѣкоторые изъ казаковъ совсѣмъ выбились изъ силъ, и одинъ изъ нихъ, не смотря на явную опасность, рѣшился встать на ноги.

— Нѣтъ, не могу! — вскричалъ онъ. — Усталъ хуже собаки!

«Что ты это дѣлаешь, сумасшедшій?» — сказалъ Паршинъ съ чувствомъ страха и негодованія.

— Не могу, Лука Оаддепчъ, какъ хочешь: изъ мочи выбился!

Но едва казакъ успѣлъ сіе выговорить, какъ сильный порывъ вѣтра потащилъ его по скату, потомъ сблъ съ ногъ, и бѣднякъ, разбитый и окровавленный, стремительно покатившись внизъ, напрасно старался схватиться руками за гладкой и скользкой насть, и вскорѣ исчезъ изъ глазъ изумленныхъ и утраченныхъ товарищей.

---

внутренности сей земли, по рѣкѣ Камчаткѣ. Сосны, которыми прочая часть Сибіри такъ изобилуетъ, здѣсь нѣтъ совсѣмъ.

— Ну, бѣдняга! — сказали съ сожалѣніемъ казаки — вѣрно, ужъ живъ не будетъ!

«Самъ виновать! — подхватилъ Паршипъ. — Я говорилъ, что нельзя вставать... Чу! Выстрѣлъ!»

— Это, знать, ружье само выпало! — замѣтили казаки.

«А слышите ли — сказалъ Паршипъ — какъ опять завали собакъ? Смотрите, что Камчадалы опять высыплютъ!»

Въ самомъ дѣлѣ Камчадалы опять вышли изъ пещеры, и увидѣвъ спускавшихся въ пасть своихъ непріятелей, проворно прикатили общими силами къ краю утеса на преогромный камень, и дождавшись ихъ спуска, съ величайшимъ крикомъ свалили его внизъ. Ужасный громъ и трескъ деревъ, сокрушенныхъ сброшенною массой, раздавался въ пади; за нимъ слѣдовалъ ударъ, другой, третій, четвертый, между которыми разсыпалась выстрѣлы изъ ружей — и пустыня, можетъ быть, отъ созданія міра стоявшая въ невозмущасмомъ безмолвіи и оглашенная сильными мятежными звуками, казалось, изъясляла свою скорбь въ дикихъ и протяжныхъ вопляхъ свирѣпствовавшей бури.

Не смотря на непрерывное паденіе кампей, казакъ шлп бодро п смѣло, п при паденіи каждаго кампя, еще острплвъ на счетъ своихъ не-пріятелей. Но чтобы совершить обходъ, имъ надлежало употребить не мало времени, въ продолженіе котораго Камчадалы, не сомнѣваясь въ намѣреніи казаковъ, положили, по общему совѣту: Гатальчѣ, какъ смѣлому п удалому воппу, съ отборными товарищами, идти на отбой приступа, а менѣе отважнымъ оставаться въ становщѣ, п въ случаѣ разбитія Гатальчи, рѣшиться на послѣднюю мѣру: *достать подъ себя постелю*, лишь бы только не достаться живыми въ руки супостатовъ. Гатальча п товарищи его, отправляясь на смертную битву, весело простились съ своими женами п дѣтьми, п закинувъ за плеча *сайдаки* (\*), пошли бодро съ пѣснею безнадежной отваги:

Не ползи змѣей изъ темныя дубравы:  
Не застанешь насъ въ расплохъ, казакъ лукавый!  
Мы съ тобой теперь въ послѣдніе сразимся:  
Лучше сгинѣмъ, а живые не дадимся!

\*

\* \* \*

Нужды нѣтъ, что злобный Канна тебѣ служить:  
Камчадалъ въ бѣдѣ не плачетъ п не тужить!

(\*) Лукп.

Онъ умбегъ, презирая участь злую,  
Подостлать себѣ постелю кровяную!

Внимая сему отчаянному пѣнію, оставшіеся въ становищѣ Камчадалы смотрѣли на удаляющихся съ какимъ-то дикимъ безмолвіемъ: ни у кого ни слеза не выступила изъ глазъ, ни вопль, ни вздохъ не вылеталъ изъ груди. Таково чудное человѣколюбіе природы! Она положила извѣстный предѣлъ, до котораго бѣдствія еще чувствительны человѣку, но далѣе онаго ни умъ не въ состояніи живо представить себѣ огромность бѣды, ни сердце чувствовать ея приближеніе: тогда несчастіе, превысившее положенную мѣру, измѣняетъ свое свойство и принимаетъ характеръ спокойствія. Здѣсь-то начинается отчаянная радость, верхъ человѣческаго злополучія!

Впрочемъ, Камчадаламъ не трудно было защититься отъ нападенія казаковъ; ибо подъемъ, предлежавшій имъ послѣднимъ, хотя и былъ возможенъ, но сопряженъ съ величайшими затрудненіями: имъ надлежало кой-какъ пробираться по скользкому насту между выставлявшихся изъ крутаго и безлѣснаго ската огромныхъ камней, уподоблявшихся, по чрезвычайной высотѣ своей, почти скаламъ.

Камчадалы, спустившись съ вершины горы до половины ея и остановившись на одной изъ таковыхъ скалъ, ожидали казаковъ, готовые къ сопротивленію.

Первый шелъ Паршинъ. Едва опъ, сопровождаемый своею командою, поднялся на нѣсколько сажень, какъ страшною величныи камень полетѣлъ съ горы и непрерывно бы раздробилъ и Паршина и шедшаго по слѣдамъ его Безшабашнаго, если бы, по счастію ихъ, ударившись о край скалы, надъ ними влѣтѣвшей, не перелетѣлъ чрезъ ихъ голову.

«Ребята! — вскричалъ Паршинъ — проворнѣе на скалу, да хватимъ оттуда пзъ винтовокъ: вѣрно, черти разбѣгутся при первомъ выстрѣлѣ.»

Проворно взобравшись на скалу, казаки увидѣли надъ собою Камчадаловъ, опять готовящихся свалить также огромный камень. «Стрѣляй!» — вскричалъ Паршинъ. Пули со свѣтомъ понеслись съ камня на камень, и сшибли сверху двухъ Камчадаловъ, стремглавъ полетѣвшихъ внизъ. Товарищи ихъ сробѣли и бросились на гору; одинъ Гатальча, удалый и отчаянный, остался на мѣстѣ, и употребивъ гигантскія усилія, сбросилъ до половины нависнувшій внизъ осколокъ утеса. Низвергнутая громада, закры-

гавъ съ камня на камень, наконецъ грянулась на вершину скалы, на которой стояли Паршинъ и Безшабашный, едва успѣвшіе отскочить при семъ паденіи, и потомъ пронеслась въ трущобу, наполняя пустыню трескомъ деревъ и грохотомъ паденія. Послѣ сего, неутомпмый и разъяренный Гатальча еще хотѣлъ въ третій разъ употребить то-же губительное средство, но казаки, быстро поднявшись къ тому мѣсту, гдѣ стоялъ онъ, на небольшой каменной площадкѣ, не дали ему исполнить сего намѣренія. Начался смертный бой. Гатальча, схвативъ копые, направилъ его противъ Паршина, занесшаго руку на площадку, дабы на нее взобраться; но неустрашимый и проворный потомокъ желѣзнаго племени, схвативъ копые и крѣпко держась за него, вскочилъ такимъ образомъ, съ невольною помощію самаго непріятеля, на площадку, и нанесъ ему ужасный ударъ саблею. Гатальча успѣлъ однако-жъ отъ него нѣсколько уклониться, и получивъ рану только вскользь по рукѣ, схватилъ казака за грудь, и вонзилъ ему въ бокъ смертоносную чекушу, съ ужаснымъ крикомъ: «Пропадай врагъ!» Но въ то же мгновение и самъ вкусилъ смерть: Безшабашный, съ быстротою сокола, вскочивъ за Паршинымъ, ударилъ Кам-

чадала прикладомъ по головѣ, и отважный дикарь, послѣдняя отрасль славнаго Шантала, превозносимаго въ Камчадалскихъ сагахъ, кончилъ свои отчаянные подвиги. Отуманенный ударомъ, онъ качнулся въ сторону, не выпустивъ, однако жъ, изъ рукъ своей жертвы, какъ бы по невольному, судорожному движенію, и съ повтореннымъ ударомъ, покатился вмѣстѣ съ нею въ пропасть, означая свой путь кровавою полосою. Смерть сихъ воиновъ произвела совершенно различныя чувствованія въ сражающихся: Камчадалы вовсе потеряли духъ, а Русскіе, по чудной доблести нашего народа, съ увеличившеюся опасностію при потерѣ начальника, еще болѣе ободрились, совершенно позабыли сами себя и дружно кинулись на гору, презирая летящія на нихъ сверху камни и стрѣлы, и не сдѣлавъ ни одного выстрѣла. Это твердое, безмолвное презрѣніе смерти, эта стихійная, нечеловѣческая храбрость, совершенно обезумили Камчадаловъ: пораженные болѣе нравственно, нежели физически, они не были въ состояніи долѣе сопротивляться, не смотря на превосходство своего числа, ни положенія, и съ отчаяннымъ воплемъ бросились на вершину горы, дабы потомъ сбѣжать на уступъ, въ свое ста-

новнше. Казаки также вбѣжали на гору вслѣдъ за ними, и схватили съ плечъ ружья; тоже самое сдѣлали и товарищи ихъ, оставшіеся на противоположной горѣ, и увидѣвши ихъ появленіе; но тѣ и другіе, приложившесъ къ ружьямъ, внезапно остановились въ семъ положеніи, пораженные ужасомъ и изумленіемъ. Предъ ними открылась страшная, раздирающая сердце картина. Каждый изъ Камчадаловъ, схвативъ свою жену, или сына, или дочь, и занеся надъ ними ножъ, ожидалъ только перваго знака отъ стоявшаго между ними съ бубномъ шамана, чтобы поразить ихъ прямо въ сердце. Шаманъ, находившійся въ какомъ-то безумномъ, дикомъ изступленіи, наконецъ сверкнулъ кровавыми глазами, ударилъ въ бубенъ—и пожи разомъ мелькнули, озаренные краснымъ пламенемъ зари: ужасный, удушающій, но мгновенный вопль раздался въ воздухъ; кровь хлынула ручьями съ утеса!

Казаки, сколько ни были неустрашмы въ битвахъ, но при семъ ужасномъ зрѣлищѣ невольно затрепетали. Безшашанный, первый, выйдя изъ состоянія изумленія, бросился было, чтобы остановить сіе варварское торжество, но не успѣлъ: жертвы покатылись по утесу, а потомъ



и сами убійцы съ крикомъ непзьяснимаго, дп-каго, но отчаяннаго радостнаго изступленія, взмахнувъ кверху руками, какъ-бы въ знакъ преда-нія себя волѣ Высшаго Духа, бросились всеъ ра-зомъ съ утеса, и только одинъ шаманъ полу-больной и полубезумный, не боясь и не понимая человѣческаго мщенія, остался отъ всего пле-менп, какъ обломокъ отъ разбитаго бурею ко-рабля, и какъ привидѣніе чернѣль на утесѣ при первыхъ лучахъ восходившаго солнца. Казаки не сочли нужнымъ вести его съ собою, и уда-лясь съ мѣста побойща, долго слышали его бу-бенъ и безумные крики, какъ бы онъ провожалъ, казалось, души своихъ родовичей въ безвѣстное владычество *Гаеча*. Наконецъ бубенъ умолкъ, и въ пустынь, на минуту возмущенной буйными существами, злобно и безумно отнимающими другъ у друга и безъ того кратковременное бы-тіе, опять воцарилось вѣчное и невозмущаемое безмолвіе!

По возвращеніи казаковъ въ опустѣвшій Кууюхченъ, Погремушкинъ пришелъ въ большое затрудненіе, не зная, какъ и что написать о слѣдствіи; но смѣтливый товарищъ его, безпо-добный Сумкинъ, тотчасъ вывелъ его изъ за-трудненія.

«Помилуйте, Петръ Ѳедоровичъ! Да чѣмъ тутъ затрудняться? Господи твоя воля! Да развѣ перо-то не въ нашихъ рукахъ? Развѣ нельзя заставитьъ его, чтобы оно заговорило за всѣхъ Камчадаловъ, какъ намъ надобно, да потомъ заставило у каждаго допроса *сайдаки* со стрѣлами (\*)? Вотъ вамъ и слѣдствіе!»

Погремушкинъ мрачно посмотрѣлъ на Сумкина, и махнувъ рукой, сказалъ холодно: «Ну дѣлай, какъ хочешь!»

Такимъ образомъ, по слѣдствію, протопопъ и мечанинъ оказались совершенно виновными въ смерти Тешавы и въ подученіи Камчадаловъ, а Зуда и въ дѣятельномъ участіи въ бунтѣ, оставленномъ при самомъ началѣ, безъ особенныхъ послѣдствій, благоразумными и кроткими мѣрами гг. слѣдователей. Антонъ Григорьевичъ, доносъ о семъ губернатору, испрашивалъ имъ, *съ поощреніемъ къ дальнѣйшему усердію по службѣ и съ примѣръ другимъ, за дѣятельность, неутомимость и безкорыстіе*, приличное награжденіе, особенно настоялъ о выдачѣ имъ годоваго оклада, *съ уваженіемъ ихъ бѣднаго состоянія и малаго жалованья, коимъ-де они не въ состоя-*

---

(\*) Иновѣрцы вмѣсто своей подписи ставятъ знакъ: лукъ со стрѣлою, положенною на тетиву.

ни пропитываться, имья на своемъ попеченіи большія семейства. Къ несчастію его, подобныя казенныя фразы, коими такъ много злоупотребляютъ слабые и безчестные люди, не могли обмануть тогдашняго Иркутскаго губернатора, о которомъ мы уже упоминали выше. Прочтавъ означенное дописаніе, Кличка, отмыслъ на немъ: *оставить до окончанія ревизіи въ Камчаткѣ.*

Но не столько сія ревизія, стѣслепная болѣе или менѣе формамъ, какъ безпристрастный судъ предація раскрылъ страшныя дѣянія, нами описанныя. Давно сказано, что гласъ народа есть гласъ Божій. Сколько бы осторожное лицемѣріе ни укрывалось отъ преслѣдованій закона, оно не въ страхъ утаится отъ преслѣдованій *общаго толка.* Сей всезрящій и всевѣдущій судія проникаетъ въ глубочайшія изгибы сердца, обнаруживаетъ сокровеннѣйшія пружины дѣяній, и выявляетъ темнѣйшія тайны. На грозномъ судѣ его нѣтъ ни лицепріятія, ни пощады — и вы, надѣющіеся избѣгнуть наказанія, установленнаго закономъ, трепещите: есть общее мнѣніе, есть презрѣніе и проклятіе народа!

---

## XIX.

### ОБЪЯСНЕНІЕ ЗЛОДѢВЪ.



Начальникъ, получивъ письмо отъ фельдшера о смерти своей жены, въ первый день Пасхи поутру, во время собранія у него поклонниковъ, вышелъ къ нимъ изъ кабинета съ самымъ ужаснымъ лицомъ. Оно было подернуто какою-то синею тѣнью, изображавшею болѣе раскаяніе убійцы, нежели притворную скорбь, какую лицомъ старался показать. Во всякомъ другомъ случаѣ, онъ не поспешилъ бы на обильныя слезы, дабы лучше представить видъ печалющагося, но тутъ не могъ сего сдѣлать: адское мученіе совѣсти и невольное опасеніе преступника,

терзавшее его душу, были слишком сильны для того, чтобы вполне выдержать принятую имъ ролю. Но между тѣмъ сіе страшное состояніе души грѣшника также привело присутствовавшихъ къ выгодному для него заключенію: оно было принято за дѣйствіе величайшей, безслезной горести. Обозрѣвъ безмысленное и покорное стадо, и не встрѣтивъ ни одного смѣлаго и проницательнаго взора, начальникъ ободрился, и какъ бы задыхаясь отъ скорби, сказалъ предстоявшимъ: «Да! тяжело потерять жену во всякомъ случаѣ, а особенно теперь мнѣ, въ такой отдаленности, гдѣ она замѣняла мнѣ все!» Слышавшіе сіи трогательныя слова, желая показать, что они сердечно раздѣляютъ съ нимъ его печаль, сдѣлали каждый по самой плаксивой гримасѣ и тяжело вздохнули.

Съ недѣлю послѣ сего Антонъ Григорьевичъ не выходилъ нкуда изъ дому, и большую часть сутокъ просаживалъ за Библіей. Никто не сомнѣвался въ его благочестивыхъ чувствованіяхъ и размышленіяхъ, кромѣ одного Всевѣдающаго.

Между тѣмъ пріѣхалъ съ горячихъ водъ вѣрный агентъ его, фельдшеръ и благочестивый отшельникъ имѣлъ слѣдующій разговоръ съ симъ мошенникомъ, который, гордясь оказанною

пмъ своему повелителю кровавою услугою, и считая его уже не столько начальникомъ, какъ товарищемъ въ злодѣйствѣ, слѣдался гораздо смѣлѣе прежняго въ обращенія съ нимъ.

— Вотъ видите, ваше высокоблагородіе — говорилъ онъ, смотря на подписываемое Антономъ Григорьевичемъ извѣстное представленіе о наградѣ слѣдователей — другихъ вы представляете къ наградамъ, а, кажется, и меня пора бы....

«И тебя?» — перебилъ начальникъ, взглянувъ на него съ насмѣшливою улыбкою.

— Да что же вы изволите смѣяться? Конечно; чѣмъ же я хуже другихъ?

«А къ чему прикажешь тебя представить?»

— Какъ, къ чему? Вѣдь, кажется, давно уже я стою на офицерской лѣннѣ...

«Вотъ чего тебѣ захотѣлось! Стало-быть, ты позабылъ, что во время оно...»

— Да помилуйте! Кто Богу не грѣшеть, царю не виновать! Вѣдь, если сказать правду, такъ вашъ честнѣйшій секретарь и господиный засѣдатель давнымъ-давно то же бы вытерпѣлъ, кабы не пмѣли офицерскихъ чпновъ, да открылись бы все ихъ плутни...

»Послушай, Алексѣй: ты, во-первыхъ, го-

ворпшь слишкомъ дерзко для начальника, а во-вторыхъ, и не по-христіански: знаешь, вѣрно не только ближнихъ, но и...

— Знаю, знаю, ваше высокоблагородіе! Я и люблю ихъ обоихъ; да развѣ бы имъ вредъ бы какой причпился, если бы вы изволили и меня тутъ же припснуть: вѣдь, дѣло-то я сдѣлалъ, а барыша-то не много!

«Не много, а билеты?»

«Да, сударь, билеты! Не тутъ-то было!»

«Что же это значить?»

— Да то, ваше высокоблагородіе, что мнѣ ихъ и во снѣ не видать. Признайтесь, ваше высокоблагородіе: ужъ, вѣрно, вы изволили пошутить надо мною?

«Я вижу, Алексѣй — отвѣчалъ начальникъ, вспыхнувшій отъ злобы, но стараясь сохра-пить видъ спокойствія — ты, кажется, сегодня въ хорошемъ расположеніи духа!»

— Напротивъ, въ самомъ худомъ, ваше вы-сокоблагородіе, и былъ и буду, если не изво-лите удовлетворить моей просьбы.

«То есть, представить тебя въ офицеры?»

— «Да-съ!»

«Хорошо, ты будешь представленъ; но до-вольно объ этомъ. Что твои больные?»

— Ничего, сударь! Мичманъ лежитъ въ общей арестантской, а впучку протопопа я велѣлъ перенести въ домъ казака Горбунова.

«А хорошо ли караулятъ ихъ? Смотри: пока они больны, такъ на твоёмъ отчетѣ. Ну какъ они теперь?»

— Оба въ страшной горячкѣ, ваше высокоблагородіе, совсѣмъ безъ памяти.

«А что, протопопъ не приходилъ къ своей впучкѣ?»

— Приходилъ вчера. Да какими судьбами, ваше высокоблагородіе, онъ разгуливаетъ у васъ на волѣ, какъ правый?...

«Нельзя, братецъ, особа духовная: тутъ надобно дѣйствовать осторожно. Я ожидаю увѣдомленія изъ Иркутска. Увидимъ, куда вѣтеръ потянетъ. Ну что же этотъ калуеръ, когда увидѣлъ впучку?»

— Смѣхъ и горе, ваше высокоблагородіе! Признаюсь, не хотѣлъ-было пускать его; хотѣлъ сказать, что нельзя: испугасшь; ну да такъ и быть, думалъ, пусть полкбуется!

«Что жъ онъ, плакалъ что ли?»

— Нѣтъ! Хотѣ бы те слезинку выронилъ! Этакой чугуна! Только положилъ близъ кровати три поклона въ землю, прочиталъ надъ



больною молитву, и взглянувъ на небо, перекрестилъ ее, и сказалъ: «Богъ да сохранитъ и защититъ тебя, дитя мое, и да проститъ твоихъ гонителей!»

«Ха, ха, ха! — засмѣялся непстовымъ смѣхомъ начальникъ. — Пусть охраняетъ ее кто хочетъ, но она теперь въ моихъ рукахъ!.... А что мнѣманъ?»

— Этотъ безпрестанно бредитъ: все матушка, да матушка! Знаете ли, что я совѣтывалъ бы вамъ? Не подать ли ему того же снадобья, которое...

«Ты, Алексѣй — прервалъ начальникъ съ негодованіемъ — сегодня слишкомъ смѣлъ!»

— Да что перемоняться, ваше высѣкоблагородіе? Вѣдь для васъ же очищаю дорогу...

При семъ словѣ вся тяжесть сообщничества съ подчипеннымъ и неизбѣжно сопряженная съ нею унижительная зависимость отъ него, какъ бы ударили въ сердце злодѣя-начальника. «Бестія! — думалъ онъ, вскочивъ съ мѣста и начавъ быстрыми шагами ходить по комнатѣ — онъ зазнался, и можетъ быть мнѣ опасенъ; но я найду еще способъ накинуть на него узду, и заковать его мерзкой языкъ.»

— Ужъ не на меня ли изволили прогнѣ-

ваться? — спросил нѣсколько струсившій фельдшеръ, по прежней привычкѣ своей бояться Антона Григорьевича, и давно изучившій всѣ приемы сего послѣдняго.

«На тебя? — отвѣчалъ Антонъ Григорьевичъ, сплывшисъ принять ласковый видъ. — Съ какой стати? Нѣтъ, Алексѣй, я столько доволею твоимъ усердіемъ, что грѣшно бы было на тебя сердиться. Я надѣюсь, что ты и впередъ не откажешься мнѣ послужить столь же ревностно.»

— Будьте увѣрены, ваше высокоблагородіе!

«Я никогда и не сомнѣвался въ этомъ... Но скажи мнѣ, пожалуйста: точно ли Карауля называла себя матерью мичмана?»

— Вѣдь я докладывалъ вашему высокоблагородію, что это было при моихъ глазахъ.

«Странное дѣло! Мнѣ хочется хорошенько узнать объ этомъ. Пойдешь отъ меня, такъ скажи ей, чтобы она сегодня жѣ побывала у меня.»

По уходѣ фельдшера, пачальникъ, по обыкновенію своему, началъ мѣрными шагами ходить по кабинету, съ попякшею головою и съ руками, заткнутыми за поясъ. Спусти съ пол-

часа, вошла Цыганка, и принявъ па себя самый смпренный видъ, стала у дверей, такъ что свѣча, тускло горѣвшая на столѣ, весьма слабо освѣщала ея темное лице. Начальникъ, остановившсь въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ нея, устремилъ на нее самый внимательный взоръ и, казалось, приводилъ что-то на память; наконецъ сказалъ ей значущимъ голосомъ: «Караулха! ты должна рассказать мнѣ провешствія твоей жизни. Признаюсь: я смотрѣлъ на тебя прежде безъ особеннаго вниманія; но теперь нахожу въ чертахъ твоихъ что-то знакомое.»

— Помплуйте, батюшка ваше высокоблагородіе, гдѣ намъ, людямъ бѣднымъ, быть знакомымъ съ вашею милостію!

«Притворство твое не у мѣста — прервалъ начальникъ строгимъ тономъ. — Я имѣю тысячу способовъ узнать правду; но прежде хочу спросить у тебя самой: точно ли ты Русская?»

— Да чѣмъ же мнѣ быть иной?

«Не жпвала ли ты когда-пбудь въ Бухарестѣ?»

— Гдѣ жпвать, батюшка! Я этого и имени-то не слыжпвала.

«Я тебѣ еще подтверждаю, старуха: говори правду, чтобы послѣ не каяться.»

— Правду, сущую правду говорю вашей милости.

«Странное дѣло! — думалъ начальникъ, начавъ опять ходить по компатѣ. — Въ чертахъ этой женщины есть весьма много сходнаго съ тою Цыганкою, съ которою я познакомился въ Бухарестѣ, и съ которой я, признаться, поступилъ не совсѣмъ честно... Но впрочемъ, кто жъ не шалплъ въ молодости? И что вспоминать старыя дрязги? Довольно и новыхъ! Не даромъ сказано: *довльетъ дневи злоба его!*»

— Гдѣ же твоя родина, старуха? — спросилъ начальникъ, вдругъ обратившись къ Цыганкѣ.

«Въ Иркутскѣ, отецъ родной!»

— Въ Иркутскѣ? — повторилъ начальникъ съ грознымъ видомъ. — И ты смѣешь такъ нагло врать?

«Не вру, батюшка! Повѣрь Богу: говорю правду!»

— Но если ты не лжешь, то какимъ чудомъ мнѣмапъ могъ быть твоимъ сыномъ? Ты сама такъ называла его.

«Отецъ родной! — вскричала Цыганка, упавъ въ ноги начальнику — прости меня,

многогрѣшную! Я вижу теперь, что должна тебѣ во всемъ покаяться: я ссыльная.»

— Ты ссыльная! — повторилъ начальникъ съ нѣкоторымъ ужасомъ — и, стало быть, догадка моя справедлива?

«Нѣтъ, батюшка, вотъ-те всѣ Святые, нѣтъ! Я родилась въ Петербургѣ. Батюшка и матушка умерли, когда я была еще ребенкомъ. Я осталась на своей волѣ, а своя воля молодому человѣку, батюшка — кто этого не знаетъ? — сущая пагуба! Къ тому же попалась на худыя руки, а поучить уму-разуму было некому. Вотъ я и пошла по мытарствамъ. Охъ, тяжело, какъ вспомню, сколько грѣховъ на душу пало!»

— Ну, хорошо! — прервалъ начальникъ суровымъ голосомъ — ты можешь и не вспоминать о старыхъ грѣхахъ и рассказывать проворнѣе.

«Такъ къ слову пришлось, отецъ родной! Ну вотъ видите, на двенадцатомъ году у меня родился сынишко. Думала было пехнуть его въ Воспитательный, да жаль стало; нѣтъ ужъ, молъ, что ни будь, а не покину свое дѣтище. Вотъ и таскала его съ собою лѣтъ до девяти, батюшка, да называла чужимъ, и самому-то ему не сказывала, что онъ мой сынъ, а все толковала: ты-де

покраденъ у другихъ. Напоследокъ — вѣдь горето, батюшка, не за горами, а за плечами — за чѣмъ пойдешь, то и найдешь — напоследокъ, отецъ родной, попала я подъ уголовную, и — знаешь: материнское сердце! — задумала: лучше-де вовсе откажусь отъ сыновка, чѣмъ губить его вмѣстѣ съ собою, и показала, что онъ-де не сынъ мой, а къ тому же навернулся добрый человѣкъ, который захотѣлъ призрѣть его. Вотъ, батюшка, всѣ мои похождения. Я сказала все безъ утайки. Хоть вѣрь, хоть не вѣрь!...»

Начальникъ, обладавшій умомъ хитрымъ и прощательнымъ, не могъ съ безразсудною довѣрчивостію положиться совершенно на слова расказщицы, особенно при извѣстности ея характера и поступковъ; но, по лукавому правилу сердца, одержимаго страстію: вѣрить тому, чего желаешь, онъ старался заглушить голосъ совѣсти и разсудка; ибо зная предсмертный разговоръ своей жены съ мнчманомъ, онъ не столько желалъ, сколько страшился найти въ немъ своего сына.

— Но если я спрошу самого мнчмана — скажешь ли, сохраняя болѣе паружный видъ недовѣрчивости — и если откроется что-нибудь тутъ преступное, ...

«Изволь, батюшка, спрашивать, сколько вамъ угодно; но вы извольте видѣть изъ моихъ словъ, что онъ и самъ хорошенько не знаетъ, что я его мать».

— Это правда! Но скажи мнѣ: тебѣ не жаль, что онъ попался въ бѣду?

«Какъ не жалѣть, батюшка! — воскликнула Цыганка съ притворными слезами, упавъ въ ноги начальнику. — Защити его, родимый! Вѣдь, что еще онъ: молодо, зелено! Будь его отецъ родной: скажся надо мною горемышною!»

Начальникъ, не смотря на всѣ злоухрщенія сердца, не престававшій сомнѣваться въ повѣствованіи Цыганки, съ ужасомъ посмотрѣлъ на ея притворную жалость; но не вмѣвъ силы вдругъ отказаться отъ исполненія своихъ преступныхъ замысловъ, и готовый пожертвовать для удовлетворенія страсти всѣмъ священнымъ, онъ сказалъ ей съ неподражаемымъ равнодушіемъ: «Встань, Караулъха! Я постараюсь объ немъ сколько могу.»

— Заставьте за себя вѣчно Бога молить! — говорила Цыганка, вставая и всхлипывая отъ слезъ.

«Хорошо, что ты принимаешь такое участіе въ сынѣ — сказалъ начальникъ по нѣкоторомъ

молчаніи, съ насмѣшливою улыбкою;—но, говорятъ, что ты не ко всѣмъ дѣтямъ своимъ была такъ жалостлива.»

— Кто это смѣетъ говорить? — спросила Цыганка, вдругъ измѣнивъ свой голосъ.

«Твой пріятель, фельдшеръ!»

— Онъ?

«Да, онъ. Но это еще не все. Онъ сказывалъ про тебя вещи самыя ужасныя, и, если бы я довѣрялъ этому мошеннику....»

— Что же онъ говорилъ тебѣ? — прервала Цыганка, начиная приходить въ бѣшенство.

«Онъ сказалъ мнѣ, что ты, а не впучка протопопова, отравила мою жену, и что ты только сдѣлала на нее отводъ. Если это правда: то...»

— Такъ что же ты сдѣлаешь со мною?

«То, что велитъ строгость законовъ съ подобными злодѣями?»

А — ты — возопла Цыганка, давъ наконецъ полную волю потоку яростной злобы, тапвшей въ ея груди — а ты, развѣ не такой же злодѣй, какъ и я? Развѣ не по твоему приказанію....»

«Ты, вижу я, сумасшедшая! — вскричалъ начальникъ, также выѣ себя отъ злобы. — Я



велю тебя посадить на цѣпь и заморить, какъ собаку.»

— Лицемеръ и убійца! кричала Цыганка, предавшись совершенно изступленію — ты призывалъ меня, видно, для того, чтобы надо мной наругаться? Но я не такова! Я не боюсь твоей гнусной власти!

«Не раскайся! Отъ меня завещать открыть убійство твоихъ дѣтей!»

— Глупецъ! ты поручалъ уже твоему сообщнику запугать меня этимъ, и думаешь, что я въ самомъ дѣлѣ по этому исполнила твою подлую волю. . . . Ошибаешься, злодѣй: я готова на все! Я пойду и объявлю свое злодѣяніе, но и тебя, убійца, заставлю мучиться вмѣстѣ со мною!

«Постой, фурія! — вскричалъ начальникъ, утраченный, какъ преступникъ, сею страшною запальчивостію Цыганки и совершенно растерявшийся въ сей неожиданный моментъ. Онъ схватилъ ее за воротъ и вдернулъ обратно въ свою комнату. — Постой! я вижу: ты сумасшедшая, и въ бѣшенствѣ своемъ готова послушать всю Камчатку.»

— Пусть! Ты хочешь меня застрашать!

«Бѣзумная! кто тебѣ это сказалъ! Я хотѣлъ только открыть козни противъ тебя мошенника

фельдшера, но я ни когда не позволю клеветать на певчихъ. Я знаю, что онъ плутъ....»

— Такой же, какъ ты!

«Караулъ! мнѣ давно сказывали, что ты выходишь по временамъ изъ себя: вотъ почему я не могу на тебя сердиться. Но признаюсь, тебѣ: я хотѣлъ бы отдѣлаться какъ-нибудь отъ этого мерзавца. Я даже слышалъ, что онъ обманулъ и тебя. Обѣщалъ много, и не далъ ничего....»

— Да, меня обманули — отвѣчала Цыганка, начавшая успокоиваться; — но не знаю, который изъ васъ: ты на него, а онъ на тебя сваливаетъ эту вину.

«Подлецъ! Неблагодарный! Клянусь Богомъ: я дорого бы заплатилъ тому, кто бы меня отъ него избавилъ!»

— Тутъ не нужно платить слишкомъ дорого! — подхватила Цыганка съ злобною усмѣшкою, всегда готовая на погубель другаго и находя адское удовольствіе въ смертныхъ грѣхахъ своего обольстителя. — Это дѣло всего стоитъ двадцать копѣекъ! Такъ и быть, не пожалѣю! Отдамъ послѣдніе!

«Нѣтъ, Караулъ! — подхватилъ начальникъ такимъ голосомъ, какъ бы онъ не понималъ на-

мѣревія Цыганки, и какъ бы она говорила о какомъ-нибудь добромъ дѣлѣ. — Я не хочу, чтобы бѣдный человѣкъ для меня тратился; вотъ тебѣ десять рублей! *Богъ велѣлъ намъ помогать ближнему.*»

— Богъ! Помогать ближнему! Ха, ха, ха!

«Что же тебѣ смѣшно?»

Цыганка продолжала хохотать. Начальникъ долго крѣпился, но наконецъ и самъ расхохотался надъ своимъ лицемѣремъ. Въ этомъ смѣхѣ отзывались адскіе тоны.

«Мы съ тобой, Караулха — сказалъ, наконецъ, начальникъ — кажется, вѣкъ свой оба уже отжили, и дурачимся, какъ ребята; смѣемся, сами не зная чему.»

— Теперь смѣемся, а придетъ время, будемъ плакать! — отвѣчала Цыганка двузначательнымъ тономъ.

«Это правда! — говорилъ начальникъ, не понимая въ точности значенія словъ ея, и между тѣмъ принимая на себя обычную ролю святоши. — Всему есть время подъ солнцемъ! Жизнь бѣжитъ, какъ вода; потому-то и надобно дѣлать добро наскоро. Знаешь ли, что придумалъ я? Фельдшеръ хоть, правда, и великій негодяй, но до нѣкотораго времени онъ мнѣ нуженъ. Между-тѣмъ

мнѣ хочется и тебя-то обезопасить со стороны его, на тотъ случай, если бы онъ вздумалъ тебя оклеветать, когда прїѣдетъ сюда резезоръ. Я думаю вотъ какъ: подпиши-ка ты эту бумагу. Я нарочно ее для тебя приготовилъ. Это показаніе отъ твоего лица, что онъ подговаривалъ тебя отравить мою жену, чтобы потомъ ее обокрасть. Я до времени подержу эту бумагу у себя, и пушу ее въ ходъ, когда понадобится. Ну, что же ты не отвѣчаешь ничего?»

Цыганка въ свою очередь прпшла въ изумленіе, удивляясь безднѣ коварства, хитрости и злодѣйства, въ лицѣ своего старпнаго знакомца, и, взмѣривъ его глазами, покачала головой и молча подписала бумагу.

— Ну, спасибо, Караулха! Подпи же, да смотри хорошенько за внучкой протопопа. Я отдаю тебѣ ее на попеченіе: ты умѣешь обходиться съ больными. Она необходима для объясненія дѣла и, Боже сохрани, если умретъ!

Цыганка, продолжая сохранять молчаніе, вышла изъ комнаты, и идучи по улицѣ, говорила сама съ собой: «Хорошо, мошенникъ! губи, какъ умѣешь, твоихъ сообщниковъ. Я подпишу тысячу бумагъ на нихъ и на себя, лишь бы онѣ не помѣшали мнѣ погубить самого тебя.»

Между-тѣмъ, начальникъ сѣлъ за столъ, и положивъ предъ собой ея показаніе, глядѣлъ на него съ усмѣшкою. «Теперь, господинъ фельдшеръ и эта старая чертовка въ моихъ рукахъ! Перваго я могу такъ состращать этою бумагою, въ случаѣ нужды, что онъ и рта разинуть не посмѣетъ передо мною, а послѣдняя уже не можетъ пугать меня своимъ признаіемъ, хотя бы тысяча ревизоровъ пріѣхала!.... Но чортъ возьми, если эта проклятая вѣдьма только запирается, и если она въ самомъ дѣлѣ была нѣкогда тою молодою, прекрасною дѣвушкою, которая казалась мнѣ такъ хороша, такъ мила и даже такъ добродѣтельна, что я влюбился въ нее безъ памяти, и не иначе могъ склонить ее на свою сторону, какъ только тѣмъ, что далъ съ клятвою обѣщаніе па ней жениться! Да, если это въ самомъ дѣлѣ она: то, смотря на нее, едва ли кто отважится похвалиться постоянствомъ своей добродѣтели?.... Э! всѣ эти люди добродѣтельные хороши только до перваго случая!»



## XX.

### РАСКАЯНІЕ.

Въ одинъ изъ послѣднихъ дней іюня, весьма рано поутру, шелъ по берегу Петропавловской гавани, пробвраясь къ *Авачинской губѣ*, чело-вѣкъ довольно высокаго роста и преважной осанки. Псевдному, онъ вышелъ полюбоваться природою: ибо шелъ шагъ за шагомъ, и самое неумѣренное, даже глупое восхищеніе изображалось на его лицѣ. Поводя во всѣ стороны вздернутымъ кверху носомъ, онъ, кизалось, хотѣлъ вытянуть весь аромать изъ воздуха и съѣсть окружающую его картинну. Она въ самомъ дѣлѣ была и прелестна и величественна: ибо съ на-

ступленіемъ іюня прошла мартовская погода, и житель Камчатки благословилъ, наконецъ, благодатное явленіе лѣта. Березовыя рощи, можно сказать, мгновенно распустившіяся, толпились на пути незнакомца, наполняя воздухъ своею благотворною свѣжестью. Холмы и долины, по которымъ проходилъ онъ, были одѣты молодою зеленью и убраны цвѣтами, между которыми преимущественно красовалась оранжевая сарана, сколько прелестная, столько же и полезная въ быту камчатскаго обитателя (\*).

Незнакомецъ взошелъ на одинъ изъ холмовъ, и, обозрѣвъ окрестности, обратился неподвижно къ зрѣлищу восхожденія солнца. Волны свѣта выбѣгали изъ безднъ свѣтозарнаго Востока, обливавшего пламенемъ небо и море. Съ каждымъ приливомъ свѣта, и лѣса и горы, какъ бы поочередно, выходили изъ небытія и являлись взору другъ за другомъ, въ постепенной отдаленности. Наконецъ золотой лучъ загорѣлся на вершинѣ *Авачинскаго шатра*, и миллионы птичекъ, почувствовавъ явленіе въ міръ царя жиз-

---

(\*) Корни сараны сушатъ на солнцѣ и кладутъ въ кашу, пироги и толкушку.

ни, привѣтствовали его своимъ гнѣвомъ. Восторженный до безумія смѣлъ величественнымъ зрѣлищемъ, равно поражающимъ глупца и мудраго, незнакомецъ, наконецъ, воскликнулъ съ жаромъ : «*O natura divina!* (О Божественная природа!) Люблю тебя, поклоняюсь тебѣ, уважаю и чту! Въ тебѣ все такъ чинно, стройно, благопримчиво, не какъ въ дѣлахъ человѣческихъ!.... Ахъ, Владыко! Хоть на себя я взгляну.... Что я? До сихъ поръ я еще не порѣшилъ себя! Самъ не знаю, что мнѣ выбрать?»

Говоря сіе, незнакомецъ спустился съ холма и пошелъ обратно, продолжая разсуждать вслухъ съ самимъ собою. «Словно злой духъ какой подбрасываетъ мнѣ полѣна! Хотѣлъ жениться — не могу, сударь, ни какъ рѣшиться, да и полно! Сегодня правится одна, завтра другая! Начиная свататься — не отдають: вѣдь себя отъ отчаянія; начала соглашались — тогда самъ я отказываюсь. Знаю, что бѣсятся на меня, но мнѣ-то что же дѣлать?.... Теперь наступила еще горшая бѣда; выборъ званія! По милости фельдшера, я теперь имѣю честь засѣдать въ судѣ; но что же мнѣ дѣлать? рѣшительно ли перейти въ статскую, или оставаться въ духовномъ званіи? и здѣсь еще новая задача: быть ли свя-



щенникомъ, или обречь себя на вѣчное одиночество и сдѣлаться монахомъ? О какая мудрость потребна, чтобы разрѣшить этотъ Гордіевъ узелъ! Тамъ широкая и просторная дорога къ повышенію, за то скудное содержаніе; тутъ бы и порядочный доходъ, да нѣтъ ни какой пищи для честолюбія: засѣлъ въ одно мѣсто, такъ и сиди до скончанія вѣка; въ монашенскомъ званіи, правда, сѣи выгоды слываются, такъ можно ли, при моемъ чувствительномъ сердцѣ, отказаться отъ утѣхъ семейственнаго счастья? Какъ согласить всѣ эти противорѣчія? *Quo me vertam? quod iter incipiam ingredi? quam vivendi viam ingrediar insistem?* (Куда мнѣ обратиться? какую дорогу избрать? какой родъ жизни выбрать?) Блаженны неразсуждающіе! Между-тѣмъ, какъ они идутъ безъ запинки по пути жизни, и слѣпо добиваются почестей и богатствъ, человѣкъ съ гениемъ, какъ напримѣръ, я, человѣкъ, любящій глубоко проникать въ сущность вещей, останавливается при началѣ поприща и не знаетъ: куда ему пуститься....»

— Сюда, сюда! — прокричалъ съ боку голосъ. — Тутъ прямо-то болото: если упадешь, такъ увязнешь по уши!

«Ахъ, въ самомъ дѣлѣ!» — вскрикнулъ дья-

чекъ, и взглянувъ въ сторону, увидѣлъ выходящаго изъ лѣса фельдшера.

— Куда такъ раненько собрался, Климъ Степанычъ? — спросилъ сей послѣдній. — Ужъ не шашни ли завелся какія? и смотри какъ поднарядилъ я: красный кафтанъ и голубые штаны! Молодецъ! Дура же только эта впучка протопопова!

Дьячекъ съ удовольствіемъ посмотрѣлъ на одежду, въ которую онъ облачился, по случаю намѣренія своего оставить духовное званіе. Онъ прибодрился фертонъ, и выфранчивая самымъ смѣшнымъ образомъ, заплеталъ и косилъ ногамъ.

— Славно, славно, Климъ Степанычъ! — продолжалъ фельдшеръ, идучи съ нимъ рядомъ. — Вотъ ужъ теперь ты, можно сказать, что женихъ во всей формѣ, особенно еще какъ офицерской чинишко схватилъ, такъ....

«То-то, братъ, меня еще и раздумье беретъ: не знаю еще, идти или не идти въ статскую?»

— Помилуй, любезный, что же тебѣ думать, когда ужъ ты и прошеніе подашь?»

«Такъ что же? развѣ не лзя взять назадъ? Это, братъ, я ужъ не разъ дѣлывалъ! сперва подашь, а тутъ и раздумаешься.»

— Полно, полно, не срамь себя! Что, тебѣ хочется опять надѣть свой долгополый балахонъ? посмотри-ка ты теперь на себя въ зеркало: молодець! хоть кому, такъ женихъ!

«Хо, хо, хо! — засмѣялся дьячекъ во все горло. — Женихъ-то женихъ, да невѣсты-то нѣтъ!»

— Какъ нѣтъ? а внучна протопопа?

«Да, внучка, пойдеть! нѣтъ, я отчаялся.»

— А я тебѣ скажу, что не надо отчаяваться. Начальникъ самъ мнѣ сказывалъ, что на этихъ дняхъ поѣдетъ къ протопопу и будетъ настаивать, чтобы онъ непременно за тебя выдалъ.

«Будто правда?»

— Какъ Бобъ святъ!

«Да, конечно, это было бы хорошо; но знаешь ли: если выкупить путемъ, то едва ли мнѣ еще и есть большая выгода.»

— Помилуй, Климъ Степанычъ, да вѣдь прежде ты только это спалъ и видѣлъ....

«Прежде такъ, но теперь....»

— А теперь, видно, какъ дѣло начало приходить къ концу, такъ и раздумье взяло.

«Да разсуди же ты самъ: во-первыхъ....»

— Мнѣ тутъ судить нечего, а я просто скажу начальнику, что ты раздумалъ.

«Нѣтъ; погода говоритъ. Я подумаю.»

— Ну, думай же, а теперь прощай!

Фельдшеръ свернулъ въ сторону, а дьячекъ, подходя къ дому, запымаемому уѣзднымъ судомъ на время прѣбывавшимъ изъ Нижне-Камчатска, опять началъ разсуждать самъ съ собою: «Вотъ тебѣ на! еще новая задача! раскусывай ее какъ умѣешь! О вы, древніе рѣшители самыхъ трудныхъ задачъ для человѣчества! о Платонъ! о Сократъ! о Сепека! да осѣнитъ меня безсмертный гений вашъ своимъ лучезарнымъ крыломъ, и да....»

— Кутейникъ! — вскричалъ вывернувшійся изъ-за угла мальчишка.

Сіе магическое слово разомъ пресѣкло теченіе дьячковой рѣчи. Онъ, видѣ себя отъ гнѣва, погнался за шалуномъ съ палкою, а мальчишка, бывъ изъ числа подъячкихъ, побѣжалъ прямо въ судъ. Дьячекъ за нимъ, и такимъ образомъ оба они скрылись во святыхъ правосудія, гдѣ обидчикъ и получалъ отъ обидимаго воздаяніе по заслугамъ.

Въ сіе время члены суда, судья и два заседателя, были уже въ присутствіи. Судья, баронъ Бутеръ, былъ добрый и честный Швецъ, любившій искренно правду и не бравшій взятокъ

ни подъ какими титулами, словомъ: человекъ, какого только можно желать для служенія во храмъ Ѳемиды; но (какъ говорятъ нашъ знаменитый Крыловъ:

Одно въ царѣ лишь было худо :

Царь этотъ былъ оспновыи чурбань!)

одно было худо въ нашемъ судѣ, что онъ не умѣлъ ни читать, ни писать по-русски, и только выучился, и то съ превеликимъ трудомъ, кое-какъ подписывать свое имя. Правда, г. баронъ старался всячески скрывать свое невѣжество, и особенно выѣзжалъ на презрѣннн къ русскому языку; но за всѣмъ тѣмъ всякой разъ, какъ приводилось ему подписывать бумаги, чувствовалъ большое неудобство отъ этого пустяка; ибо не разъ случалось, что секретарь возвращалъ ихъ къ нему обратно съ несноснымъ докладомъ: «Вы изволили подписать-съ вверху ногамн.» Что тутъ оставалось дѣлать барону, какъ не прибратъ на нашъ бѣдный языкъ разныя нѣмецкія брани?

Изъ числа засѣдателей одинъ былъ Малороссіянинъ, по уму и по прозванію: *Дураченко*. Онъ составлялъ совершенную противоположность съ

барономъ. Баронъ зналъ все, кромѣ русской грамоты, а Дураченко, кромѣ грамоты, не зналъ рѣшительно ничего; притомъ всякое знаніе почиталъ глупостію, отъ-роду не читывалъ ни одной книги, и это невѣжество ставилъ еще себѣ въ превеликую честь.

Другой засѣдатель былъ Ханцловъ, о которомъ было уже упомянуто выше. Онъ былъ тоже неучень, но человекъ съ здравымъ умомъ и съ знаніемъ своего дѣла, каковы большею частію природные сибирскіе служаки. Хапиловъ, родясь въ Камчаткѣ, теръ, какъ говорится, лямку лѣтъ тридцать, чтобы добиться высокаго званія засѣдателя: ибо десять разъ открывалась вакансія, и десять разъ сажали на нее пріѣзжихъ, по извѣстному выраженію: *«нѣсть пророкъ во отечествіи своемъ.»* Товарщи же его, какъ легко догадаться и по ихъ происхожденію, были оба пріѣзжіе, и посажены на мѣста, какъ люди отличные, по представленію Антона Григорьевича.

Секретарь сего Ареопага, по прозванію Прижимовъ, былъ самый знаменитый крючекъ по всей Камчаткѣ, плутъ, взяточникъ и пьяница. Судья Бутеръ не разъ грозился выгнать его изъ должности; но, надобно сказать правду, соб-

ственное благоразуміе запрещало ему сіе дѣлать: ибо Прижимовъ замѣнялъ ему не только руку, но и голову. Пользуясь снѣмъ, секретарь презиралъ и угрозами судьи и самою его особою, и ходилъ въ присутствіе постоянно полу-пьянымъ.

По открытіи засѣданія, Дураченко спросилъ вчерашній журналъ, который и былъ поданъ ему секретаремъ. Перелистывая тетрадь съ мнимою неудовольствія, Дураченко спросилъ секретаря: «кто это писалъ?»

— Вновь опредѣляющійся дьячекъ Шайдуровъ-съ.

«Позовите его.»

Шайдуровъ вошелъ въ присутствіе, и сдѣлавъ легкій поклонъ *à la mode*, старался подойти къ столу присутствія со всѣмъ искусствомъ, въ полной надеждѣ, что онъ своею ловкостію обратитъ на себя вниманіе начальства; но вдругъ всѣ его лестныя мечты разлетѣлись, какъ дымъ, когда Дураченко грозно спросилъ его:

«Ты это варакалъ?»

— Я, сударь!

«А что это у тебя, брратецъ, за каракули?»

— Это, сударь, запятыя.

«Чтобъ я никогда не выдалъ ихъ! ты толь-

ко, брратецъ, переводишь черныла. Пыши, какъ я, а не то я тебя подь арестъ велю посадить.»

— Да помилуйте, сударь, за что же?

«Такъ ты, брратецъ, еще вздумалъ со мною спорить. Сторожъ! возьми его, сними съ него сапоги, да не пускай отсюда цѣлую недѣлю!»

Дьячекъ, пораженный, какъ громомъ, симъ приказаніемъ, не сказалъ ни слова, и только крупныя слезы градомъ покатылись изъ его глазъ, когда сторожъ началъ снимать съ него сапоги. Сіе оскорбленіе тѣмъ еще было для него чувствительнѣе, что приказные подняли при семъ случаѣ ужасный хохоть, такъ что *Дураченко*, выглянувъ изъ присутствія, закричалъ на нихъ: «перестаньте, черти! я со всѣми вами сдѣлаю тоже.» Хохоть стихъ, но за то посыпался на бѣднаго дьячка самыя язвительныя насмѣшки.

— Что, братъ! — говорилъ одинъ изъ старыхъ повытчиковъ — видно, писать - то не въ колокола звонить?

«Да — подхватилъ другой — видно, это не кутья: за одинъ разъ не схлебнешь!»

— Вишь — прибавилъ третій — выѣхалъ со своими крюками! нѣтъ, братъ, здѣсь ихъ не любить! По нашему такъ вотъ какъ: захотѣлось табаку нюхнуть, такъ тутъ и точка!



Особенно надоѣдалъ нашему бѣдняку проклятый мальчишка, который, послѣ полученныхъ имъ отъ него побоевъ, сдѣлавшись совершеннымъ его врагомъ, дразнилъ его безъ малѣйшаго отдыха и пощады: «Кутейникъ! знать ноги-то спотѣли, что сапоги снялъ? смотри: мышь бѣжитъ: не отгрызла бы пальцы!» и проч. Разумѣется, что всѣ эти выходки были глупы, какъ нельзя болѣе, по они ужасно терзали злополучнаго и неповиннаго дьячка. Наконецъ, бѣдствіе его достигло высочайшей степени: мимо оконъ суда прошелъ протопопъ, прямо къ воротамъ судебного дома. Дьячекъ совершенно обезумѣлъ отъ стыда, и вскочивъ со стула, распахнулъ шкафъ, стоявшій подлѣ печи, и спрятался около нея за шкафою дверью, такъ что только однѣ его босыя ноги выказывались изъ-за нихъ. Протопопъ вошелъ въ комнату; вѣжливо поклонился подъячмъ и не видя сторожа, на сей разъ куда-то усланнаго, спросилъ у одного изъ нихъ: «можно ли доложить объ немъ присутствію?» Подъячій равнодушно поглядѣлъ на него, и опять началъ писать, не удостоивъ его ниже словомъ. Протопопъ спросилъ другаго, и получилъ тотъ же отвѣтъ: эта чудная психологическая черта, которая вовсе неизвѣстна въ высшихъ присут-

ственныхъ мѣстахъ, въ нижнихъ станціяхъ, кое-гдѣ, сохраняется еще и донинѣ. Протопопъ, видя, что приказные, не отвѣчая ему, только изрѣдка вспрыскиваютъ отъ смѣха, и не понимая сего причины, рѣшился ожидать сторожа, и сѣлъ на лавку, стоявшую противъ самага шкафа. Приказные примѣтивъ, что онъ увидѣлъ дьячковы ноги, опять подняли общій смѣхъ, а мальчишка, тихонько вскочивъ со скамьи и подкравшись къ шкафу, вдругъ отпахнулъ дверь такъ, что дьячекъ едва успѣлъ только произнести: ахъ! и, съ смертною блѣдностію на лицѣ, стоялъ, потупивъ голову, какъ пойманный на шалости школьникъ, и не смѣя поднять глазъ на протопопа.

— Ну выходи, красный гусь! — говорилъ мальчишка, издѣваясь надъ его робостію. — Не докуда тебѣ тутъ стоять: ноги отерпнутъ!

«Что это, Степанычъ! — сказалъ протопопъ съ истиннымъ участіемъ — въ какомъ, братъ, положеніи тебя вижу? Вотъ, братъ, какъ случается съ людьми, которые берутся не за свое дѣло! кабы ты пошелъ по духовному званію, да пошелъ съ умомъ: такъ ты вѣкъ-то свой прожилъбы спокойно, и по крайности такого срама вразо бы не терпѣлъ! а то захотѣлъ, Богъ

знаеть, чего, ударился въ доносы, да въ кляузы, и что изъ этого выйдетъ путнаго, Богъ вѣсть!»

Дьячекъ не отвѣчалъ ни слова, но зарыдалъ, и началъ громко всхлипывать. Протопопъ, по отличной добротѣ своей души, глубоко былъ тронутъ его положеніемъ, и забывъ всѣ обиды его, началъ уговаривать съ самымъ отеческимъ расположеніемъ:

«Ну, полно, Степапычъ! Господь милостивъ! Еще такой бѣды нѣтъ, чтобы такъ плакать! Зяими-ка ты этотъ красный поддержиай, да останься въ прежнемъ: такъ авось дѣла-то поправятся. Ты тогда, какъ приходилъ просить меня, чтобы я написалъ о тебѣ съ Саламатовымъ къ преосвященному, хоть немпожко меня и оскорбилъ; однако я все-таки о тебѣ писалъ хорошее, и вотъ съ нынѣшней почтой получилъ отвѣтъ. На-ка, читай!»

Дьячекъ, все еще не смѣя взглянуть на протопопа, взявъ бумагу трепещущею рукою, и едва дочиталъ до половины, какъ выронивъ ее изъ рукъ, вскричалъ самымъ отчаяннымъ голосомъ: «О! это сверхъ силъ моихъ! Если бы меня распяли, расчленили, я перенесъ бы это мученіе легче, нежели ваши благодѣянія. Они мнѣ жгутъ и прожигаютъ насквозь сердце!»

«Полно, Степанычъ!—прервалъ протопопъ.—  
Къ чему эти пустяки сбирать?»

— Нѣтъ, отецъ святой, это не пустяки. Я  
васъ оклеветалъ праваго, а вы виноватаго меня  
оправили. Охъ, тяжело! Не могу это снести!  
Прощайте, святой отецъ! Помпнайте меня въ  
вашихъ молитвахъ.

Сказавъ сіе, дьячекъ схватилъ лежавшую на  
полу веревку, опрометью бросился въ дверь, и  
сшибъ съ ногъ сторожа, попавшагося ему на  
встрѣчу. Сторожъ, вскочивъ на ноги, бросился  
за нимъ, думая, что онъ бѣжалъ отъ ареста;  
равнымъ образомъ и многіе изъ подъячихъ так-  
же кинулись изъ суда, не столько для поимки  
дьячка, сколько для того, чтобы воспользовать-  
ся случаемъ для отлучки отъ должности, и что-  
бы завернуть по дорогѣ въ свое любимое мѣсто-  
пребываніе. Самъ протопопъ также вышелъ за  
ворота и глядя вслѣдъ за бѣгущими, покачалъ  
головой, и глубоко вздохнувъ, сказалъ съ горе-  
стію: «Бѣдный парень! совсѣмъ погибъ отъ сво-  
его високоумія!»

Между-тѣмъ дьячекъ, отмѣривая преогром-  
ные шаги, далеко опередилъ преслѣдовавшихъ  
его, и, наконецъ, скрылся отъ нихъ въ лѣсу.  
Онъ обѣжалъ сгоряча всю Петропавловскую

таванъ, выбѣжалъ на берегъ *Авачи*, и тамъ, выбравъ толстое дерево, придѣлалъ къ нему подмости, и ставъ на нихъ, привязалъ веревку за сукъ, съ готовою петлею, и потомъ вложилъ въ нее голову; оставалось только столкнуть подмости и повиснуть. Въ семь положеніи протекло нѣсколько минутъ; но подмости все еще были цѣлы: ибо перѣшптельность не покинула своей жертвы и на краю гроба. Дьячка взяло раздумье: не лучше ли утопиться? Около четверти часа онъ высчитывалъ удобства той и другой смерти, и наконецъ, отвергнувъ смерть сухопутную, рѣшился избрать водяную. Съ сею мыслию, онъ вынулъ изъ веревки голову, и проворно соскочивъ съ подмостковъ, бросился прямо къ водѣ. Но между-тѣмъ продолжительность разсужденій чувствительно охладла въ немъ охоту къ смерти, такъ что, взойдя только по колѣно въ воду, онъ впалъ въ новое недоумѣніе: «Не лучше-ли мнѣ въ самомъ дѣлѣ — говорилъ онъ самъ съ собою — умереть, какъ умирали древніе: съестъ въ воду и пуститъ себѣ кровь изъ всѣхъ жлъ? Точно! Такъ умеръ великій Сенека, такъ умру и я!» Съ симъ словомъ онъ сѣлъ въ воду, и припомня себѣ монологъ Катона, дабы умереть по всѣмъ правиламъ древней Философіи,

хватился перочиннаго ножичка, съ помощію котораго хотѣлъ послѣдовать за Сенекою; но, переискавъ во всѣхъ карманахъ, ни гдѣ его не нашель. «О верхъ несчастія! — вскричалъ онъ, выходя изъ воды. — Нечего дѣлать! Видно, въ наказаніе за мои преступленія, всемогущая судьба не позволяетъ мнѣ умереть такъ, какъ умереть ты, великій свѣтильникъ древности, и, видно, я долженъ кончить жизнь не какъ философъ, но какъ умираютъ и самые невѣжественные люди, отъ этой грубой, варварской вервн!» Дьячекъ опять хотѣлъ было закинуть на себя петлю, какъ вдругъ кто-то схватилъ его за руку, съ крикомъ: «здѣсь, здѣсь!» Это былъ сторожъ, ужъ довольно дряхлый старикъ. Дьячекъ разомъ выдернулъ у него руку, и оттолкнувъ его отъ себя прочь, опять кинулся въ лѣсъ. Вслѣдъ за нимъ опять погнались и сторожъ и сопутствовавшіе ему подьячіе; но всѣ они были уже въ порядочномъ куражѣ, и дьячекъ снова скрылся отъ нихъ въ чащѣ лѣса. Долго шумъ и трескотня, раздававшіеся въ немъ, извѣщали слѣдователей о могучемъ бѣгѣ отчаяннаго дьячка, который, скажемъ кстати, былъ одаренъ отъ природы чрезвычайною тѣлесною силою; но вскорѣ затихъ и шумъ, и преслѣдователи, отказавшись отъ

успѣха въ поискѣ, принуждены были возвра-  
титься назадъ, и прошли по кратчайшему трак-  
ту — прямо въ петейный домъ.



## XXI.

### СУДЬЯ ВЪ ХЛОПОТАХЪ.



Тревога, произведенная бѣгствомъ дьячка, смутила присутствующихъ, и все они бросились къ окнамъ. Проводивъ глазами бѣглеца, судья Бутерь и засѣдатель Дураченко призвали въ присутствіе оставшихся въ судѣ приказныхъ, и произвели строгій разспросъ о причинѣ и подробностяхъ сего происшествія. Наконецъ правдолюбивый, но близорукій судья, бывъ подстрекнутъ *Дураченкомъ*, разгнѣвался, самъ не зная за что, на протопопа, и позвавъ его въ присутствіе, сказалъ ему съ примѣтною запальчивостію:



«Каспадинъ протопопъ! я призвалъ васъ чтобы объявить волю нашальникъ: отобрать отъ васъ нѣкоторый свѣдѣнїй....»

— Я готовъ исполнить волю начальника — отвѣчалъ протопопъ съ величайшею скромностію; — но я самъ получилъ изъ Иркутска уведомленіе, что дѣло Тенявы по случаю доноса, поданнаго Саламатовымъ, оставлено до прїѣзда сюда ревизора, и что....

«Постойте, каспадинъ протопопъ! Вы не даль мнѣ досказать, что я началъ. Судъ призывалъ васъ для этого дѣла; но теперь вы сдѣлалъ новый проказъ, и сейчасъ же извольте написать къ намъ отвѣтъ....»

— Господишь судья! я тутъ не сдѣлалъ ни какой проказы, а только хотѣлъ обратить погнбающаго на путь правый.

«Тутъ сказывать проповѣдь не время: для этого былъ церковь. Притомъ вы показывалъ ему какой-то бумагъ....»

— Да, я показывалъ ему бумагу ко мнѣ отъ преосвященнаго, который, по ходатайству моему, его простилъ, и предписывалъ возвратиться ему въ Иркутскъ для принятїя священства....

«Да что, Богданъ Богдановичъ! — сказалъ Дураченко съ тою неизъяснимою злобою, кото-

рой обыкновенно предаются подлыя и низкія души, при видѣ чловѣка, нелюбимаго начальствомъ — что терять попусту слова? Прикажите секретарю, чтобы онъ записывалъ, что отецъ протоіерей будетъ говорить, да представимъ начальству — вотъ и все!»

— Вы говорилъ резонъ. Каспадинъ протопопъ! извольте сѣсть и сказывать, а вы, каспадинъ секретарь должны писать.

Протопопъ, по удивительной скромности своей, ни сколько не протнворѣчилъ сему обидному приказанію, и рассказалъ, какъ происходило дѣло. Наконецъ допросъ былъ конченъ. Протопопъ уже готовъ былъ его подписать, какъ вдругъ засѣдатель Хапловъ, непрямѣтно заглядывавшій въ сію бумагу, во время пнсьма, вдругъ остановилъ протопопа: «Постойте, и прежде прочитайте: тутъ написано совсѣмъ не то, что вы говорили!»

— Какъ не то? — возразилъ секретарь, стараясь выдернуть бумагу изъ рукъ Хаплова. — Нѣтъ-съ, извините-съ: точно то-съ!

«Не понимаю, какъ достаетъ у тебя дерзости — вскрпчалъ Хапловъ — это утверждать? Развѣ ты думаешь, что я не умѣю читать?.... Богданъ Богдановичъ! вы изволили слышать,

что говорилъ отецъ протоіерей; теперь послушайте, что написалъ г. секретарь.»

Хаппловъ прочиталъ отвѣтъ, въ которомъ протопопъ явно обвинялъ себя въ произведеніи въ судѣ шума, безпорядка и безчинства; въ подученіи дьячка къ оставленію службы и къ побѣгу, въ грубыхъ отвѣтахъ предъ судьей и проч. Выслушавъ сіе, любившій правду судья совершенно взбѣсился, и обратился къ секретарю съ величайшимъ гнѣвомъ: «Каспадинъ секретарь! какъ вы смѣли это сдѣлать на моихъ глазахъ?»

— Да что же я сдѣлалъ такое? — отвѣчалъ равнодушно секретарь, заткнувъ за ухо перо и не вставая съ мѣста.

«Какъ что? И вы смѣете говорить съ нашальникъ, не вставай со стуль? Я васъ фелю сею же минуту посадить подъ арестъ, и кушать одинъ хлѣбъ и водъ.»

— И будто нельзя ужъ будетъ и каплю вина пропустить въ горло? — говорилъ секретарь съ насмѣшкою.

«Mein Gott! что мой видѣлъ? — вскричалъ судья, совершенно выйдя изъ себя. — Онъ смѣетъ еще надо мной издѣваться! Сторожъ! посаживай его подъ арестъ.»

— Пожалуйте, ваше благородіе! — сказалъ подошедшій къ секретарю сторожъ.

«Пошелъ прочь! Пойду я!»

— Какъ твой не поидеть! — воскликнулъ судья, даже въ нѣкоторомъ безпамятствѣ. — Я фелю тащить тебя за волосъ!

«Попробуйка-ка!»

Судья кинулся было самъ тащить его, но секретарь, оттолкнувъ его отъ себя, сказалъ ему весьма хладнокровно:

— Да что, Богданъ Богдановичъ, такъ ты расходился! Вѣдь, теперь не прежняя пора тебѣ надо мною ломаться; стоитъ только захотѣтъ мнѣ, такъ ты и пошелъ вверхъ ногъ!

«Что это значилъ?»

— А вотъ что значилъ! Господа! — провозгласилъ секретарь, обратясь къ засѣдателямъ, изъ коихъ Хапиловъ смотрѣлъ на сіе происшествіе съ примѣтнымъ прискорбіемъ, а Дураченко, напротивъ, едва удерживался отъ смѣха — господа! извольте-съ выслушать. Вчера г. судья, подписалъ прошеніе объ отставкѣ на имя на-мѣстника, и вотъ что въ немъ пишеть....

«Что я слышу? Какое прошеній?» — прервалъ судья, съ величайшимъ испугомъ.

— Тебѣ должно быть извѣстно, когда подписывалъ. Господа! Судейская ли это рука?

Засѣдатель сдѣлалъ утвердительный отвѣтъ.

— Такъ вотъ извольте-съ выслушать: «Во все продолженіе моей сорока-лѣтней службы я постоянно обманывалъ начальство: не зная не только законовъ, но и русской грамоты, я перешелъ многія должности и наконецъ добился званія судьи, употребляя всякую неправду, пронырства и подлости. Наконецъ начинаетъ меня мучить совѣсть: не могу долѣе жить обманомъ, потому что смерть уже стоитъ за плечами. А потому приношу мое душевное покаяніе, что я человекъ незнающій, глупый и къ должности своей вовсе неспособный.... (\*)»

— *Almächtiger Gott!* (Всемогущій Боже!) — воскликнулъ судья, повалившись отъ ужаса на полъ.

«Что ты это сдѣлалъ, негодяй!» — вскричалъ Хапцловъ, бросившись поднимать судью.

— Развѣ я сдѣлалъ это? — отвѣчалъ насмѣшливо секретарь. Вѣдь вы видѣли, что онъ самъ подписалъ!

«Пасвольте мнѣ (\*) пасвольте!» — воскликнулъ судья, проворно вскочивъ на ноги, и бросаясь на колѣна передъ секретаремъ. — *Mein lieber*

---

(\*) Истинное происшествіе.

Freund! — произнесъ онъ самымъ жалобнымъ голосомъ. — Пошалѣй мою жену и моихъ дѣти! Оттай мнѣ этотъ проклятый бумагъ!»

— Нѣтъ, завтра! Теперь ты, Нѣмецъ, въ моихъ рукахъ, а отдай тебѣ бумагу, такъ опять распѣтушишься. Опять примешься меня бранить, что я пошутилъ надъ отцемъ протопопомъ....

«Оттай, рати Бога, оттай! Я не станеть никогда бранить тебя: что хочешь, тѣлай; сочиняй бумагъ, какія только умѣешь: я всё буду утверждать; пей, сколько твоей душѣ угодно: я ни скажу ни одинъ словъ!»

— Ладно, за этимъ дѣло не станеть — отвѣчалъ секретарь, вытаскивая изъ стола сулейку. — Ваше здоровье, господня судья!

Дураченко расхохотался, а Хапловъ, видя себя отъ неудовольствія, вскричавъ: «Боже мой! какой срамъ!» — бросился къ секретарю, вырвалъ у него прошеніе и отдалъ судѣ.

«Возьмите эту кабалу, которую вы подписали на себя, и ради Бога встаньте, не срамите своего почтеннаго званія!»

— Благодарѣтель! отецъ! — воскликнулъ судья, бросившись обнимать Хаплова — мой въ вѣкъ не забудеть вашихъ благодѣяній.... А ты, него-тай! — вскричалъ онъ, обратившись къ секре-

тарю со вспыхнувшимъ лицомъ — я тебѣ покажу, какъ сочинять фальшивый бумагъ....

«Простите великодушно! — воскликнулъ секретарь съ притворнымъ страхомъ бросившись, въ свою очередь, судѣ въ ноги.

— Мой никогда не проститъ! — отвѣчалъ судья, тряся въ рукѣ надъ головою секретаря сочиненное имъ прошеніе. — Эту бумагъ...

Но въ сію минуту секретарь, проворно вскочивъ на ноги, вырвалъ снова изъ рукъ у него прошеніе и мгновенно перемѣнивъ тонъ, сказалъ: «Прощайте, господинъ судья! Я сейчасъ иду къ начальнику.»

— Стой, стой! — воскликнулъ судья, схвативъ секретаря за фалду; но сей послѣдній вырвался и ушелъ изъ суда. Вслѣдъ за нимъ убѣжалъ и Дураченко, уже давно взявшійся за шляпу и только выжидавшій конца, дабы бѣжать съ донесеніемъ.

«O Mein Gott! — говорилъ судья, упавъ на стулъ. — Что я стану теперь дѣлать? Вся моя служба самаранъ! Мой пошелъ теперь навѣкъ безъ репутационъ....»

Вся эта сцена происходила предъ глазами протопопа, который смотрѣлъ на нее съ истиннымъ прискорбіемъ, какъ вѣрный сынъ отече-

ства, и наконецъ сказалъ, обратясь къ Хапилову: «Ахъ, Боже мой! я никогда не думалъ, Евгений Петровичъ, чтобы въ судахъ, толь въ священныхъ мѣстахъ, могли происходить такіе безпорядки!»

— Что дѣлать, отецъ Петръ? У меня у самого разрывается сердце на части; но не въ моей власти помочь этому злу.

«Все, Евгений Петровичъ, зависеть отъ выбора чиновниковъ; ибо сказано: *Премудрость и мысль блага во вратяхъ премудрыхъ: смысленіи не уклоняются отъ закона Господня.*»

— Ваша правда, отецъ Петръ! Наши установленія всѣ прекрасны; Монархія начертала ихъ съ великою мудростью; но исполнители всякой законъ искажаютъ.

«Это прискорбно слышать, не только видѣть!»

— А между тѣмъ я обреченъ цѣлую жизнь быть этому свидѣтелемъ! Каково мнѣ?

«Привычка, Евгений Петровичъ, можетъ сдѣлать ко всему хладнокровіе; но каково нашему брату подсудимому?»

— Конечно, подсудимому тягостно, отецъ Петръ; но увѣряю васъ: еще тягостнѣе смотрѣть на страданія другихъ, и не видѣть возможности



помочь. Подавай, сколько хочешь мнѣній, не только ихъ не уважають, но еще гонять за нихъ.

«Да, а слышалъ про вашу исторію. Ахъ, Боже мой! можно ли такъ насмѣхаться надъ правосудіемъ? вмѣсто того, чтобы искать истины, за нее еще наказываютъ! Послѣ этого что такое вашъ судъ?»

— Такъ-то употребляютъ во зло — отвѣчалъ Хапловъ съ сильнымъ негодованіемъ — самое священнѣйшее установленіе! Въ общемъ мнѣніи уѣздный судъ есть мѣсто низшее, мало-важное; но на дѣлѣ онъ есть важнѣйшее изъ учреждений! Здѣсь полагается основаніе дѣлу; сюда приходитъ народъ, который часто не имѣетъ и понятія о существованіи высшихъ мѣстъ, и тутъ получаетъ онъ прямое или превратное мнѣніе о самомъ правительствѣ. Боже мой! пристрастный или глупый судья есть истинный врагъ Государя и отечества: ибо никто болѣе, кромѣ его, не можетъ поколебать самое спокойствіе народа!

«Вы прекрасно судите, Евгенийъ Петровичъ!»

— Можетъ быть, я и ошибаюсь, но я много толковалъ съ людьми, знающими о семъ предметѣ; даже много читалъ книгъ, завезенныхъ сюда покойнымъ Зудюю. И самая бесѣда его была всегда

для меня истинным наслажденіемъ. Сколько онъ сообщилъ мнѣ самыхъ здравыхъ и совершенно новыхъ для меня идей!

Сей разговоръ еще долго длился; но, наконецъ, вбѣжавшій въ присутствіе сторожъ объявилъ Хапцлову, что за нимъ присылалъ начальникъ со строгимъ повелѣніемъ: сейчасъ же къ нему явиться.



## XXII.

### В И Д Ъ Н І Е.

---

— Такъ точно! — говорилъ съ бѣшенствомъ Антоць Григорьевичъ разговаривавшему съ нимъ фельдшеру. — Я всегда зналъ этого Хапилова, какъ ослушника, какъ бунтовщика, какъ негодя! Удивительная дерзость! Въ судѣ, въ присутствіи, при зеркалѣ, вырвать изъ рукъ бумагу!.... Прикажи сейчасъ позвать его.

Фельдшеръ передалъ сіе приказаніе стоявшимъ въ прихожей казакамъ, и по возвращеніи его начальникъ спросилъ съ нетерпѣніемъ: ну чѣмъ же все кончилось?

«А тѣмъ, ваше высокоблагородіе, что секре-

тарь успѣлъ - таки опять выхватить прошеніе изъ рукъ Нѣмца.»

— Успѣлъ? Молодецъ! Вотъ служака! Вотъ настоящій чиновникъ, какими должны бы быть всѣ! Дѣятелецъ, проворецъ, безкорыстенецъ!

«Особенно, если бы не пспивалъ еще» — прибавилъ съ усмѣшкою фельдшеръ.

— Это пустяки, еущіе пустяки! Знаешь пословицу: *пьянъ да уменъ*.... Однако жъ рассказывай скорѣе. Ну чтожъ наконецъ?

«Да окончилось тѣмъ, ваше высокоблагородіе, что вырвавши прошеніе, секретарь прибѣжалъ со всѣхъ ногъ ко мнѣ вмѣстѣ съ Дураченкомъ. И этотъ предавъ вашему высокоблагородію какъ нельзя болѣе.»

— Я это знаю! Дураченко чиновникъ, право, хорошій, скромный, съ поведеніемъ, прилежный. Чего же болѣе? Говорятъ, что-де туповатъ; но признаюсь тебѣ, я терпѣть не могу этихъ сибирскихъ умниковъ. Чортъ ли въ нихъ? Ханиловъ живой примѣръ! Кромѣ непослушанія, непокорности, противорѣчій, другой нѣтъ пользы!

«Истинная правда, ваше высокоблагородіе!»

— Но почему же они не бѣжали прямо ко мнѣ? Мои двери для хорошихъ чиновниковъ всегда отворены!

«Не посмѣли, ваше высокоблагородіе, беспокоить васъ въ обѣденное время. Къ тому же секретарь былъ въ небольшомъ куражикѣ, такъ оно, изволите знать, какъ-то неловко къ начальнику лѣзть, а со мною-то ему церемониться нечего. Вотъ онъ прибѣжалъ, да и поразсказалъ всѣ похождения, да и бумагу-то отдалъ, чтобы вручить вашему высокоблагородію. Вотъ-съ она!»

— Удивительный ты человѣкъ! — вскричалъ начальникъ, вырвавъ изъ рукъ фельдшера прошеніе. — вмѣсто того, чтобы давно подать, онъ толкуетъ окоlescную. Ну, слава Богу! Я такъ много думалъ, какъ бы забрать совершенно въ свои руки этого безграмотнаго, но упрямаго Нѣмца; ночи не спалъ; и наконецъ придумалъ это превосходное средство. Разсуди же: каково бы было мнѣ перенести, если бы мой планъ вдругъ разрушился?

«Да, вы изволите уже, ваше высокоблагородіе, говорить мнѣ объ этомъ, когда еще отдавали эту бумагу, чтобы я передалъ ее секретарю; только я не понимаю, что вы изволите слишкомъ беспокоиться съ этимъ Нѣмцомъ. Приказали ему, да и все тутъ.»

— Ты судишь, какъ фельдшеръ, но я долженъ дѣйствовать, какъ начальникъ. Развѣ ты

не видишь, что я окруженъ мошенниками, доносчиками, ябдунниками, которые готовы обнести и оклеветать меня каждую минуту? Я вижу, что этотъ глупый баронъ дѣйствуетъ несправедливо, подучаемый Хапловымъ; но могу ли я приказывать ему открыто: такъ рѣши? Боже сохрани! Баронъ имѣетъ кой-какія связи въ Иркутскѣ, и на меня написалъ бы не вѣсть что; но теперь! . . .

Начальникъ, прикусивъ губы, махнулъ значительно головой.

«Справедливо, ваше высокоблагородіе! Теперь онъ съ руками и съ ногами попалъ къ вамъ въ услуженіе.»

— Скажи же ему, что если хочетъ остаться на мѣстѣ, то прекратилъ бы съ протопопомъ всякое знакомство и не мѣшался при отобраніи отъ него отвѣтовъ. Если же, паче чаянія, протопопъ вздумаетъ опять отпираться отъ своихъ словъ, то баронъ долженъ приказать составить журналъ, что отвѣты написаны совершенно сходно со словами подсудимаго, и немедленно донести мнѣ формально объ его дерзости. Все ли ты понялъ?

«Все, ваше высокоблагородіе!»

— Ну годн же, и что скажетъ онъ, тотчасъ

меня извѣсти. Я бы могъ все это сказать ему самъ; но, признаюсь, мнѣ скучно слушать его тарабарскій языкъ.

Фельдшеръ вышелъ, а начальникъ, по обыкновенію, придвинувъ къ себѣ Чети-Манею, и готовясь читать, разсуждалъ: «Да, это гораздо лучше! Пусть этотъ бездѣльникъ ведетъ переговоры, чѣмъ мѣшаться мнѣ самому; онъ и отвѣчать будетъ, если это откроется. Славное правило: загребать жаръ чужими руками; и кто его выдумалъ, былъ самый мудрый изъ земнородныхъ! Жаль только, что не всегда оно удается! Хотѣлось было мнѣ погрести жарку руками дьячка, да нѣтъ! А было бы весьма хорошо для меня! Онъ бы женился, а я... Мы бы знали уже, какъ это дѣло уладить! Тогда всѣ концы бы въ воду; на меня не могло бы быть ни малѣйшаго подозрѣнія, и я былъ бы совершенно спокоенъ... но что дѣлать? Съ дуракомъ не справиться. Справедливо говорится: съ дуракомъ Богъ не воленъ!»

Въ сіе время, по предварительному докладу, вошелъ въ кабинетъ Хапшловъ. Начальникъ, вспыхнувъ, какъ адское зарево, взглянулъ на него такими глазами, въ которыхъ изображался вдругъ всѣ неистовыя страсти: гнѣвъ, злоба и бѣшенство.

«Что вы, сударь, дѣлаете со мною?» — возопилъ онъ, удара кулакомъ по столу.

— Я не знаю за собой ни какой вины — отвѣчалъ Хашиловъ съ величайшимъ уваженіемъ.

«Ты не знаешь ни какой вины, а между тѣмъ связываешься съ подсудимыми, дѣйствуешь съ ними за одно, потворствуешь, нарушаешь всѣ установленія, всѣ законы....»

— Мнѣ кажется, вы получили обо мнѣ совсѣмъ неправильныя свѣдѣнія.

«Мнѣ нечего получать; у меня нѣтъ наушниковъ! Я самъ знаю, гдѣ что дѣлается. Я не сплю; я бодрствую день и ночь для блага вѣренной мнѣ страны. Я самъ умѣю различать чиновника честнаго, справедливаго, усерднаго отъ негодя, взяточника и лѣнивца.»

— Но всѣ эти названія, по еущей справедливости, я не могу принять на свой счетъ.

«Да, ты не можешь; но я скажу тебѣ, что ты точно таковъ и есть. Кто тебѣ далъ право учить протопопа и вырывать бумаги изъ рукъ секретаря? Какъ ты смѣлъ это дѣлать въ судѣ, въ мѣстѣ, толь важномъ и священномъ?»

— Я сдѣлалъ то, что требовала моя совѣсть, честь и присяга....



«Честь и присяга! — возопилъ начальникъ, выйдя изъ себя.— Повповснiе волѣ начальства: вотъ твоя честь и присяга! Тебѣ, видно, еще мало, что ты разгуливалъ по морю! Я не то еще сдѣлаю. Я домъ твой раскатаю по бревнамъ! Ты не найдешь для себя мѣста во всей Камчаткѣ!»

— Воля ваша, вы начальникъ; но я вамъ скажу рѣшительно: я присягалъ въ вѣрности Государынь, и не паршу ся ни за какія блага, ни страданія въ мiрѣ! Дѣлайте со мной что хотите!

«Бунтовщикъ, крамольникъ! — закричалъ начальникъ, дрожа, какъ въ лихорадкѣ отъ чрезвычайнаго дѣйствiя гнѣва — я заставлю тебя повиноваться!»

— Когда же я не повиновался? И если высказывалъ свои мнѣнiя по дѣламъ: то въ такомъ случаѣ только пользовался правомъ, даннымъ мнѣ силою закона.

«Вы вѣчно прикрываетесь закономъ, а на умѣ у васъ только заговоры и комплоты противъ начальства; только противорѣчiя, умничанье и неповповненiе.»

— Вы заблуждаетесь.

«Какъ? ты смѣешь еще грубить мнѣ? Поди-

те вонъ, сударь, вонъ! Я вижу, что говорить съ тобой — значить терять слова. Нѣтъ; тутъ надо принять другія мѣры!»

— Но прежде, кажется, надобно бы выслушать обвиняемаго.

«Ни слова болѣе! Вонъ, вонъ! Казаки! выведите его отъ меня!»

Привыкшій съ дѣтства къ глубокому повиновенію, Хапловъ, не смѣя болѣе ничего говорить въ свое оправданіе, отдалъ начальнику самый почтительный поклонъ и вышелъ изъ кабинета. Сердце его, огорченное обидою и несправедливостію, раздралось на части, и глубокая скорбь изображалась на блѣдномъ его лицѣ. Въ сіе время находился въ комнатѣ предъ кабинетомъ пританцвавшійся Сумкинъ. Нѣсколько подслушанныхъ словъ, шумъ въ кабинетѣ и встревоженное лице Хаплова, дали ему вѣрное понятіе о происходившемъ. Какъ будто бы съ нѣкоторымъ участіемъ, а болѣе для удовлетворенія низкому и злomu удовольствію, онъ подошелъ на цыпочкахъ къ Хаплову, и съ ужимками сказалъ ему чуть-чуть слышнымъ голосомъ: «Напрасно вы это дѣлаете! Знаете: воля начальства!....» Хапловъ не дослушалъ его, и не удостоилъ ниже взглядомъ. Сумкинъ посмотрѣлъ

вслѣдъ его со злобою змѣи, и сдѣлавъ жестъ рукою, сказалъ про себя: «вотъ народецъ! Взялъ бы этакнхъ всѣхъ собралъ, да, ги!.... Жаль, что не моя воля, а то бы....»

— Ба, Сумкинъ! ты пришелъ весьма кстати — сказалъ начальникъ, отворивъ дверь изъ кабинета. — Поди сюда!

«Я пришелъ доложить вашему высокоблагородію. Не безызвѣстно вамъ, что....»

— Прежде выслушай меня, а потомъ уже говори свое! — перебилъ начальникъ, еще не совершенно успокоившійся послѣ сцены съ Хапловымъ.

«Впновать, ваше высокоблагородіе! Что приказать изволите?»

— Ты слышалъ разговоръ мой съ этимъ негодяемъ....

«Какъ я осмѣлюсь....»

— Ну полно, притворствоваться: я знаю тебя: твои уши далеко слышать.

«Но только тогда, ваше высокоблагородіе, когда есть на это воля начальства.»

— Хорошо! я желаю, чтобы ты слышалъ этотъ разговоръ, и слѣдовательно ты уже знаешь: съ какою дерзостію, съ какою обидою къ моему лицу, ствѣчалъ этотъ крамольникъ.

«Волосы дыбомъ стали у меня, ваше высокоблагородіе, не повѣрите? Какъ можно быть столь дерзкимъ, столь непокорнымъ!»

— Ты видишь: тутъ слова уже не дѣйствуютъ. Я начальникъ, и слѣдовательно долженъ предупреждать всякое безпокойство; а чего ждать, если такъ будутъ презирать власть? Вотъ что заставляетъ меня приступить къ мѣрамъ строгимъ. Я тебя зналъ, Сумкинъ, всегда человѣкомъ усерднымъ, кромѣ только одного случая... помнишь, въ декабрѣ?

«Что дѣлать, ваше высокоблагородіе! Тогда проштрафился не много. Впередъ таковъ не буду! *Не забывайте грѣховъ...*»

— Я и не помню ихъ: ты уже ихъ со стороны вознаградилъ при слѣдствіи; потому - то я и хотѣлъ бы поручить тебѣ....

«Все радъ исполнить, ваше высокоблагородіе!»

— Тебѣ, безъ сомнѣнія, извѣстно, что дѣло о Тенявѣ приостановлено. Ябѣдники перемогли меня; но я еще слажу съ ними! Я не могу выразить тебѣ, какъ я радъ назначенію ревизора: ибо по пріѣздѣ его, я увѣренъ, правда восторжествуетъ во всемъ блескѣ. Между тѣмъ нельзя же, однако жъ, послаблять ослушникамъ и бунтов-

щикамъ: такъ я хочу поручить тебѣ.... (Тутъ начальникъ остано­вился, и, примѣтно, обдумывалъ преднамѣреваемый приказъ).... Вотъ что, братецъ! Я сказалъ уже тебѣ, что дѣло Тенявы отложено; по этому уѣздный судъ долженъ скоро отпра­виться обратно въ Нижне-камчатскъ.... (При семъ словѣ начальникъ снова замолчалъ).. Ну, словомъ, вотъ что: когда поѣдетъ Хапиловъ, то развѣ не могутъ напасть на него разбойники?.... Нельзя же мнѣ имѣть повсюду глаза: я не Богъ! Мало ли что можетъ дѣлаться въ такой обширной странѣ! Могутъ убивать, грабить.... Конечно, жаль человѣка честнаго, добраго, но послушниковъ, непокорныхъ, эту заразу общества, право, весьма полезное истреблять, какъ говорится, мечемъ и огнемъ.... Ты понялъ меня?

«Кажется, понялъ, ваше высокоблагородіе! То есть, вы изволите.....»

— Терпѣть я не могу этихъ то есть, и ничего не изволю, кромѣ одного вашего спокойствія и благоденствія Камчатки. Если ты не растерялъ послѣдняго ума въ Курухченѣ, то, кажется, можешь понять, что Хапиловъ и Ревизоръ....

«Нечего сказать, ваше высокоблагородіе! вели-

ка ваша забста о насъ грѣшныхъ, и Богъ убилъ бы насъ громомъ, кабы мы не старались исполнять вашихъ отеческихъ повелѣній....»

— Ну, хорошо, исполняй ихъ съ усердіемъ, какимъ ты всегда отличался къ пользѣ службы: оно не будетъ забыто. Но что же ты хотѣлъ мнѣ сказать, когда пришелъ?

«Да вотъ что, ваше высокоблагородіе! Я пришелъ было вамъ доложить о здоровьѣ Петра Федоровича. Вѣдь, вамъ извѣстно, что я съ нимъ квартирую виѣстѣ: такъ посмотрѣлся такихъ ужасовъ, что Господи упаси!»

— Что же такое?

«Страшно и пересказывать, ваше высокоблагородіе! Притомъ не худо бы его положить въ особую какую-нибудь каморочку, а то....»

— Да говори, братецъ! Что такое?

«Такіе казусы рассказываетъ, ваше высокоблагородіе, и все съ вашимъ именемъ!»

— И ты давно не придешь сказать мнѣ объ этомъ? О вы, негодные! Всѣ вы на одинъ покрой! Поди къ нему, глупецъ, бѣги бѣгомъ, зажми ему ротъ, и не пускай къ нему ни одной души. Я сейчасъ приду самъ.

Погремушкинъ, котораго душа сильно была потрясена проповѣдію Зуды во время камча-

дальскаго бунта, съ-тѣхъ-поръ все задумывался болѣе и болѣе, и наконецъ, услышавъ подробности страшной исторіи, случившейся на водахъ, и вѣрную вѣсть о назначеніи ревизора, совершенно помѣшался, и приходилъ время отъ времени въ ужасное бѣшенство. Въ припадкахъ сумасшествія, воображая присутствіе начальника, взстущенный укорялъ его самыми страшными словами въ разныхъ злодѣяніяхъ, въ которыхъ онъ былъ вовлеченъ имъ; бросался на него съ величайшею яростію, и бился самъ до крови, такъ что, наконецъ, должно было связать ему руки и ноги; между-тѣмъ ничего не пилъ, не ѣлъ и высохъ, какъ скелетъ, у котораго остались только страшные, мутные, почти совершенно выкатившіеся глаза и ужасный, нестерпимый скрежетъ зубовъ.

Въ семь положеніи засталъ его начальникъ. Едва показался сей послѣдній, какъ страшное бѣшенство овладѣло помѣшаннымъ. Онъ затрясся всѣмъ тѣломъ, и, съ пѣною во рту, заскрежеталъ зубами. «Злодѣй! — кричалъ онъ такимъ голосомъ, отъ котораго стали дыбомъ волосы у начальника. — Злодѣй! зачѣмъ ты пришелъ? Губитель! зачѣмъ ты пришелъ? Извергъ! зачѣмъ

ты пришелъ? Я тебя растопчу, растерзаю, раздору адское сердце твое....»

— Петръ Ѳедоровичъ! — сказалъ начальникъ подойдя къ его постели — ты не узналъ меня...

Я? Тебя не узналъ, злодѣй? Тебя не узналъ, убійца? Я не узналъ тебя? Нѣтъ, кровопійца! Я знаю тебя, знаю слишкомъ хорошо! Ты погубилъ мою душу и тѣло; ты ввелъ меня въ свои богомерзскія дѣла; ты научилъ меня лгать, притворствовать, лицемерить; ты очернилъ мою совѣсть; ты предалъ меня адскому огню.... Видишь ли эти билліоны духовъ? Видишь ли, какъ они жаждутъ моей души?.... О злодѣй! ты отдалъ меня въ ихъ руки! Ты научилъ меня презрять Вѣру и законы; ты далъ мнѣ адской примѣръ смѣяться надъ всѣмъ священнымъ; ты научилъ меня злодѣйствовать.... Я къ тебѣ вступилъ невиннымъ юношею, а теперь что я? грѣшникъ, лицемеръ, святоша, убійца!.... О горе мнѣ!.... Видишь ли, сколько страшныхъ тѣней собралось вокругъ моей постели! Вотъ купецъ Пивоваровъ, котораго мы обвинили, разорили и заморили въ тюрьмѣ! Вотъ....»

Начальникъ задрожалъ при семъ перечисленіи, и схвативъ подушку, бросилъ ее на изступленнаго, и сѣлъ на нее, кидая вокругъ страш-



ные взоры, выразившіе и рѣшительность злодѣя и опасеніе душегубца. Большой страшно забился, но не могъ сбросить гнѣтущей его тяжести. Нѣсколько мннуть продолжались судорожные припадки; наконецъ умирающій въ послѣдній разъ вскинулъ погами и протянулся. Болѣе признаковъ жизни не было. Любопытно бы взглянуть въ еію минуту во внутрь души жестокаго убійцы. Чтò тамъ происходило? Говорятъ, въ ней была адская тма съ неопредѣленными, безобразными видѣніями тѣней. Душегубецъ самъ былъ въ сіе время почти въ изступленіи, и съ ужасомъ увидѣлъ вьавѣ грозную тѣнь отравленной имъ супруги, которая, бросивъ на него взоръ поражающій, какъ молнія, казалось, глухо прошептала: «Несчастный! вспомни о душѣ!» Онъ не могъ перенести сего видѣнія, и съ трепетомъ выбѣжалъ изъ комнаты.

Воздухъ и великолѣпные виды природы освѣжили его воображеніе. Была уже почь — ночь теплая, ясная, свѣжая. Чистое темноголубое небо было усыяно звѣздами. Море спокойно и безмолвно дремало въ своихъ берегахъ. Горы и лѣса, рисовавшіеся на западѣ по отлыву потухавшей зарп, также погружались въ тишину и сонъ. Все въ природѣ было такъ мирно. такъ тихо,

такъ величественно и прекрасно — и поередн этого превосходнаго созданія шло существо, которое было сотворено для его украшенія, в которое сдѣлалось его безобразіемъ и гибелію!

По приходѣ домой, начальникъ засталъ у себя фельдшера, возвратившагося отъ судьи.

— Ну, что твой Бутеръ? — спросилъ онъ фельдшера довольно спокойнымъ голосомъ.

«Да что, ваше высокоблагородіе, такъ перетрусился, что даже смѣшно и жалко смотрѣть! Только и твердить: «мой все сдѣлаетъ для насъ шальпикъ, лишь бы его не погубить.»

— Ну, хорошо! Я и ждалъ этого. Вотъ какъ дѣлается на свѣтѣ: всегда вмѣстѣ бываетъ и радость и горе. Ты принесть мнѣ добрыя вѣсти, а я скажу тебѣ худыя: нашъ Петръ Федоровичъ скончался.

«Что вы говорите? Ну, дай Богъ ему царство небесное! Впрочемъ, если молвить правду—матку, то какъ не скажешь: *жила бабушка не мшала, а умерла не жаль*. Погремушкинъ, ваше высокоблагородіе, былъ себѣ на умѣ!»

— Да, онъ былъ человѣкъ весьма умный и честный.

«Ну, что касается до честности, такъ это еще подѣ сомнѣніемъ.»

— Полно шутить, Алексѣй — сказалъ начальникъ, какъ бы не примѣчая продолжающагося дерзкаго тона со стороны фельдшера; — теперь не то время. Вообрази, какія странныя вещи совершаются со мною! Сидя у постели Ногремушкина, я дождался его конца. Между тѣмъ смерклося; въ комнатѣ стало довольно темпе. Я задумался, и вдругъ слышу шорохъ. Я взглянулъ, и представъ мое изумленіе... Но Боже мой, опять она!

«Кто, кто, ваше высокоблагородіе?» — вскричалъ суевѣрный и трепещущій фельдшеръ.

— Развѣ не видишь ты? — сказалъ шопотомъ начальникъ, оставивъ въ уголъ уstraшенные взоры, и схвативъ фельдшера за плеча. — Это она!... Жена моя!

«Я ничего не вижу, ваше высокоблагородіе» — говорилъ фельдшеръ поблѣввъ, какъ полотно и дрожа, какъ листъ.

— Слывшишь? Опять тѣ же слова: убійца? вспомни о душѣ!

«Вотъ вамъ Христось, ваше высокоблагородіе, хоть мнѣ сейчасъ провалиться сквозь землю: ничего не вижу.»

— Она опять скрылась! — сказалъ тихо начальникъ по нѣкоторомъ молчаніи, начиная свободнѣе переводить духъ.

«Ваше высокоблагородіе, осмѣливаюсь вамъ доложить: не прикажете ли отслужить паннихиду?»

Начальникъ не говорилъ ни слова, погруженный въ глубокое размышленіе. Но когда фельдшеръ повторилъ свое предложеніе, онъ, вслушавшись въ рѣчь его, захохоталъ.

«Паннихиду? Ха, ха, ха! Развѣ ты въ самомъ дѣлѣ думаешь, что мертвецы могутъ вставать изъ гробовъ и приходятъ беспокоить живыхъ своимъ явленіемъ? Вздоръ, братецъ! Это только призракъ, обманъ, мечта разстроеннаго воображенія, и наша робость весьма стѣбитъ того, чтобы надъ нею смѣяться въ веселый часъ. Ха, ха, ха!»

— Воля ваша, ваше высокоблагородіе — сказалъ фельдшеръ съ большою робостію и запинкою — я радъ бы смѣяться вмѣстѣ съ вами, да не могу: мнѣ все думается....

«Что тебѣ думается?» — спросилъ начальникъ такимъ голосомъ, который означалъ, что вопросъ сдѣланъ безъ всякаго участія души, которая, судя по выраженію глазъ, неподвижно устремленныхъ на одну точку, была уже сильно занята совсѣмъ другимъ предметомъ.

— Мнѣ думается — продолжалъ между тѣмъ фельдшеръ — что чуть ли это въ самомъ дѣлѣ

не тѣнь Ольги Павловны: такъ ваша обязанность, ваше высокоблагородіе, какъ вы ни говорите; отслужить по ней павяхиду. Вѣдь я, хотя и грѣшный человекъ, да исполнялъ только вашу волю: вы приказали мнѣ научить Караулиху, чтобы она отравила ее; вы велѣли взвалить эту вину на внучку протопопа: на все это была ваша воля....»

«Что ты говоришь, мошенникъ? — вскричалъ начальникъ, выйдя изъ задумчивости. — На что была моя воля?»

«Да вѣдь вы, ваше высокоблагородіе, изволили....»

— Молчать! Клянусь адомъ, если ты скажешь еще хотя одно слово, то я прикажу тебя сковать и заморить въ тюрьмѣ какъ убійцу.... Но эта ненавистная тѣнь опять!

Начальникъ не могъ докончить рѣчи. Зубы застучали у него другъ о друга и задрожали руки и ноги. Между тѣмъ какъ фельдшеръ, у котораго воображеніе было разстроено не менѣе, какъ и у его наставника въ злодѣяніяхъ, вскричалъ съ ужасомъ: «Вижу, вижу!» — и повалился на полъ.

«Глупая и странная мечта! — сказалъ начальникъ, не преставая владѣть собою. —

Встань, Алексѣй! Я слишкомъ погорячился: теперь намъ надобно дѣйствовать....»

— Дѣйствуйте, какъ хотите — отвѣчалъ фельдшеръ, блѣдный и трепещущій, вставая съ пола; — но я болѣе не слуга вамъ!»

«Что же хочешь ты сдѣлать, сумасшедшій?»

— Я долженъ умереть.

«Ты? Умереть?»

— Да, умереть, потому что теперь только вижу, что я сдѣлалъ то, что стоить смерти.

«Безумный, ты губишь себя напрасно!»

— Все равно!

«Остановись! — вскричалъ начальникъ, схвативъ его въ изступленіи за грудь, и какъ бы страшась, что еще душа упадетъ на его совѣсть. — Остановись!... Казаки! подите сюда! Возьмите его и не выпускайте ни куда изъ дома: онъ помѣшался!»

— Пустите меня! — кричалъ фельдшеръ, вырываясь у нихъ изъ рукъ. — О силы небесныя! сойдите ко мнѣ на помощь!

«Отведите его — повторилъ начальникъ — и не выпускайте ни куда изъ дома. Вы будете отвѣчать за его жизнь.»

Казаки, не смотря на всѣ усилія помѣшавшагося, схватили его и увели, а начальникъ,

запершись въ кабинетѣ, долго сидѣлъ въ ужасной думѣ, и, наконецъ, вскочивъ на ноги, произнесъ съ нѣкоторымъ изступленіемъ: «Чортъ забери! Что дѣлается вокругъ меня! Все падаетъ и рушится, и я одинъ остаюсь посреди обломковъ своего зданія! Но что ни будетъ, то и буди: обратной дороги для меня уже нѣтъ! Мнѣ одна дорога, страшная дорога... въ адъ!... Но пока жьсть еще живу я, меня ни что не поколеблетъ. Буду дѣйствовать до послѣдняго вздоха! Въ вѣчности мнѣ уже ждать нечего; по крайней мѣрѣ здѣсь проживемъ счастливо, сколько можно. Что робѣть?... Одного сумасшедшаго я сбылъ съ рукъ; теперь надобно подумать о другомъ. Если эта скотина, воображая, что онъ скоро умретъ, также вздумаетъ каяться и рассказывать мои тайны.... Плохая шутка!... Нечего дѣлать; надобно пустить въ ходъ бумагу Караулихи: это будетъ мнѣ лучшею опорой.... И такъ теперь только одна эта вѣдьма осталась изъ всей моей свиты.... Все къ лучшему: отъ одной отдѣлаться не долго; только прежде удалось бы докончить, съ помощью ея, мои планы съ этою дѣвчонкою.... О мученіе!... Опять эта несносная гѣнь!... Опять тѣ же слова!....

КОНЕЦЪ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ.





# ОГЛАВЛЕНІЕ

## ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ.

	<i>Стр.</i>
XVI. Начальница.....	1
XVII. Слѣдствіе.....	18
XVIII. Преслѣдованіе.....	36
XIX. Объясненіе злодѣевъ.....	60
XX. Раскаяніе.....	78
XXI. Судья въ хлопотахъ.....	94
XXII. Видѣніе.....	107

---

